



**Константин Фёдорович Юон
Павел Андреевич Федотов
Василий Григорьевич Перов
Ефим Васильевич Честняков
Аполлинарий Михайлович Васнецов
Константин Алексеевич Коровин
Николай Константинович Рерих
Легенда о счастье. Стихи и
проза русских художников**

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=309002

*«Легенда о счастье. Сборник» / Сост., вступ. ст. и примеч. Вл. Б.
Муравьева: Московский рабочий; Москва; 1987*

Аннотация

Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, – явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Репин, Рерих – имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие – и какие имена! – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете, Гюго, Киплинг и длинный ряд русских писателей и художников. Многие художники тонко чувствуют слово и умело

пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных, беллетристических жанрах. Таких произведений в литературном наследии художников также немало. Что заставляет художника-живописца обращаться к писательской деятельности? Что такое – литературное творчество художника и какое место оно занимает в его творческом самовыражении?

В настоящем сборнике представлены беллетристические произведения некоторых русских художников XIX–XX веков, которые уделяли довольно значительную часть своего времени и сил литературному труду. Их творчество убедительно свидетельствует, что обращение художников к литературе имеет устойчивую непрерывающуюся традицию, а также показывает все многообразие литературы художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусством и художественной литературой своего времени. В книгу включены прозаические и стихотворные произведения А. М. Васнецова, В. Г. Перова, К. А. Коровина, П. А. Федотова, Н. К. Рериха, Е. В. Честнякова и других русских художников.

Содержание

Литература и живопись	5
П. А. Федотов	57
К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям	57
Поправка обстоятельств, или Женитьба майора	66
Рацея[21]	101
Пчела и цветок	109
Усердная Хавронья	113
Словно север магнит...	116
Что слеза течет...	117
Счастье заперто золотым ключом...	118
Со вчерашнего дня...	119
Бог взамен великих сумм...	124
Из послания к Н.С. Шишмаревой	125
К живому идеалу	128
В. Г. Перов	130
Тетушка Марья	130
На натуре	141
Под крестом	168
Конец ознакомительного фрагмента.	186

**Павел Федотов, Николай
Рерих, Константин Юон,
Константин Коровин,
Ефим Честняков, Василий
Перов, Аполлинарий
Васнецов, Павел Радимов
Легенда о счастье
Стихи и проза
русских художников**

Литература и живопись

Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, – явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Репин, Рерих – имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие – и какие имена! – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете, Гюго, Киплинг и длинный ряд

русских писателей и художников – от неистового протопопа Аввакума, «жалованного» живописца Симона Ушакова и до наших современников.

Профессионализация труда художника и литератора привела к тому, что в представлении большинства людей эти две области оказались разделенными и обособленными. Укрепилось это представление и в среде самих художников и литераторов. Но в то же время на практике писатели берутся за кисть, художники – за перо, писателей хвалят за «живописность», художников упрекают в «литературщине», историки в очерках культуры того или иного времени обычно объединяют их соединительным союзом «и» – «литература и живопись»...

Собственно говоря, нет даже необходимости говорить о глубинной, внутренней общности изобразительного искусства и литературы – она очевидна. (Впрочем, как и общность других видов искусства и науки, что у древних греков даже получило отражение в мифологической модели: Аполлон и музы.)

Многие художники тонко чувствуют слово и умело пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Воспоминания И. Е. Репина, М. В. Нестерова, А. Н. Бенуа, книги Н. В. Кузьмина и многие другие мемуарные произведения художников – великолепные образцы этого жанра – получили широкую известность и заслужили любовь читателей.

Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных, беллетристических жанрах. Таких произведений в литературном наследии художников также немало. Хотя при этом нужно сказать, что и многие их мемуары представляют собой литературно-художественные произведения.

Что заставляет художника-живописца обращаться к писательской деятельности? Что такое – литературное творчество художника и какое место оно занимает в его творческом самовыражении?

В настоящем сборнике представлены беллетристические произведения некоторых русских художников XIX–XX веков, которые уделяли довольно значительную часть своего времени и сил литературному труду. Их творчество убедительно свидетельствует, что обращение художников к литературе имеет устойчивую непрерывающуюся традицию, а также показывает все многообразие литературы художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусством и художественной литературой своего времени.

Творчество Павла Андреевича *Федотова* (1815–1852) и современники, и нынешние историки искусства сопоставляют с творчеством Гоголя. В. В. Стасов в 1862 году писал: «С такими художниками, как Гоголь и Федотов, наше искусство вступило, наконец, на свой настоящий, единственный для него путь»; в 1863 году, говоря о жанровых картинах, занявших большое место на академической выставке, он отме-

чает: «...все это произведения поколения, тронутого и движеного вперед Федотовым и Гоголем». Стасов ставит их в один ряд и по степени таланта; о картине «Утро чиновника, получившего орден, или Свежий кавалер» он сказал, что она «чисто гоголевское создание по таланту, юмору и силе». Один из главных создателей Товарищества передвижников И. Н. Крамской в 1885 году писал в письме к В. И. Сурикову: «Федотов являлся отражением литературы Гоголя».

Да, они были современниками. Гоголь был старше Федотова на шесть лет – разница ощутимая, но все-таки это одно поколение, их творчество формировалось в одних общественных условиях. Гоголь знал картины Федотова и высоко их ценил. Сам Федотов об отзыве Гоголя сказал: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!»

Стасов, Крамской и Гоголь говорят, о Федотове-художнике. Но творчество Федотова-литератора также относится к гоголевскому периоду и направлению. Поэтому совершенно закономерно и справедливо мнение Т. Г. Шевченко: «Мне кажется, что для нашего времени и нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова (имеется в виду поэма Федотова «Поправка обстоятельств». – *Вл. М.*), «Свои люди – сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя». Не случайно тут и появление имени А. Н. Островского.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве в приходе

церкви Харитония в Огородниках, местности, известной нам прежде всего тем, что там жил в детстве А. С. Пушкин и там же он поселил по ее приезду в Москву Татьяну Ларину:

*...и вот у Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился.*

Московское предание утверждает, что Пушкин имел в виду дом на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков, и называло его «домом Лариных» (снесен в 1941 году). На другой стороне Большого Харитоньевского переулка, почти напротив «дома Лариных» стоял одноэтажный домик с мезонином, принадлежавший отцу Федотова – небогатому чиновнику, выслужившемуся из солдат до чина поручика и перешедшему затем на статскую службу. (Ныне на месте дома Федотовых, снесенного в 1912 году, доходный дом № 14.)

В автобиографических набросках П. А. Федотов дает яркое описание местности Харитония в Огородниках в годы его детства, а главное, говорит о том, что его детские московские наблюдения и впечатления легли в основу всего его дальнейшего художественного и литературного творчества.

«Все, что вы видите на моих картинках (кроме офицеров, гвардейских солдат и нарядных дам), было видно и даже отчасти обсуждено во время моего детства, – пишет Федотов, – это я заключаю как по воспоминаниям, так и по тому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве. Быт москов-

ского купечества мне несравненно знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не зная почему, переносюсь мыслью в Москву... Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной фонд моего дарования».

Когда Федотову исполнилось одиннадцать лет, его определили в 1-й московский кадетский корпус, находившийся в Лефортове.

В годы учения в кадетском корпусе определились интересы Федотова. По воспоминаниям однокашника, «между товарищами он пользовался репутациею отличного рисовальщика, певца и поэта», «корпусная поэзия» имела свои давние традиции: можно вспомнить «Кулакиаду» – поэму кадета Рылеева, так называемые юнкерские поэмы Лермонтова. Еще в конце XVIII века сложился образ офицера-поэта, дилетанта, посвящающего литературе лишь досуги, не претендующего на звание сочинителя; созданию и упрочению этого образа особенно способствовал Денис Давыдов с его утверждением: «Я не поэт, а партизан». Так же традиционно говорит о своей поэзии и Федотов:

Я не отъявленный писатель...(…)

Меня судьба, отец да мать

Назначили маршировать...

Однако в этом утверждении, как, впрочем, и у Дениса Да-

выдова, больше позы, чем истины.

В 1833 году он окончил корпус с отличием и получил назначение в лейб-гвардии Финляндский полк, находившийся в Петербурге.

Дальнейшая жизнь Федотова была подчинена одной цели. добиться права профессионально заниматься любимым делом – живописью и поэзией. Будучи офицером, он посещает рисовальные классы Академии художеств и, прослужив десять лет, выходит в отставку.

Ни у кого, пожалуй, из художников не связана так тесно собственно художническая работа с литературной, как у Федотова. Сюжетная картина по природе своей повествовательна, в ней художник заведомо рассчитывает на зрительские знания и ассоциации. У Федотова картины и рисунки, по его замыслу, требуют литературных, словесных пояснений. Ему было чуждо противопоставление «литературы» и «живописи».

Свои рисунки Федотов часто снабжает подписями, которые представляют собой законченное миниатюрное литературное произведение, без которых рисунок или просто непонятен, или теряет свою остроту.

Многие современники оставили воспоминание о том, как Федотов, демонстрируя свои картины на выставках, сопровождал их чтением стихов, поясняющих и развивающих заложенную в них идею.

Но литературное творчество Федотова имеет и самосто-

ательное значение. Многие литературные произведения – басни, лирические стихи, поэмы – не имеют параллелей в рисунках или живописи; кроме того, необходимо отметить, что литературное творчество Федотова получило большое общественное звучание.

Литературные произведения Федотова, как и произведения Гоголя, принадлежат к одному направлению, оба они представители, по определению Н. Г. Чернышевского, «сатирического – или, как справедливее будет назвать его, критического направления». Изображение и критика пороков и недостатков николаевской России – главная черта этого направления, верность изображения и острота критики определяли достоинство и успех у публики того или иного произведения.

Центральное место в литературном творчестве Федотова занимает поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора». Цензор, запретивший печатать поэму, пересказывает ее содержание так: «В этом стихотворении представляется в грустном виде положение военного человека, судьба которого зависит от произвола и личного взгляда начальника, который за малейшую и не заслуживающую внимания ошибку может лишить насущного хлеба своего подчиненного, употребившего большую часть жизни на военную службу и уже неспособного более ни к какому делу». Надобно сказать, что этот отзыв по сравнению с содержащимися в поэме обличениями еще очень мягок. Представляя размышления

пустого и глуповатого бурбона-майора, Федотов описывает бессмысленную муштру, царящую в армии, взяточничество чиновников (майор прикидывает выгоды штатской службы), казнокрадство, изображает власть денег, распространяющуюся даже на загробную судьбу, потому что, только получив плату,

*...Весь век молиться
Будет пастырь за тебя.
А без денег за себя
Сам молись.*

Но майор из всех способов разбогатеть выбирает простейший – жениться на богатой купеческой дочке, больше он действительно ни на что не годен.

Поэма была написана как литературное произведение, а лишь затем Федотов приступает к картине «Сватовство майора».

Поэма Федотова распространилась в рукописных списках. Об ее широком распространении сообщают современники, ее читали и в Петербурге, и в Москве, и в провинции, помнили ее и много лет спустя. В. Апушкин, автор статьи «Федотов-поэт», напечатанной в 1902 году, пишет: «Если вы жили в провинции, если вы знавали там старых офицеров времен венгерского похода, кавказской или крымской войны, вы, без сомнения, наталкивались на таких, которые наизусть читали вам длинную федотовскую поэму «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора». Вы слушали их своеобраз-

ную декламацию, и слушали с благоговением, потому что видели, как тени прошлого пробежали по их старческим лицам, как образы их юности и молодости вставали в их памяти под магической силой федотовских стихов. Они любили их».

В Петербурге круг знакомств Федотова включает в себя художников, писателей. Он был связан с петрашевцами, близок к редакции «Современника», знаком с Шевченко, Некрасовым, Достоевским... Интерес Федотова к литературе отмечают многие мемуаристы. «С некоторых пор я начал сознавать всей душой, – говорил Федотов писателю Дружинину, – что всякий художник нового периода не может жить без чтения. Я знаю многих талантливых людей, не имевших случая образовать себя в этом отношении: их труд и слава от этого терпят много-много». Описывая квартиру художника, Дружинин пишет: «На полу, на этажерке и около стола разбросаны были книги: в изобилии валялся Винкельман, Пушкин и английские учебные книжечки. По книжной части в квартире Федотова всегда можно было найти что-нибудь необыкновенное: или том Кантемира, или какой-нибудь журнал екатерининских времен, или «Почту духов», или разрозненный том старых мемуаров на французском языке, или какую-нибудь рукописную поэму». Хорошо знал Федотов и современную литературу, особенно любил И. А. Крылова, от которого он получил «поощрительный отзыв и благословение на чин народного нравоописателя», ему нравились Гоголь, Островский, Лермонтов.

В 1850 году Федотов привозил свои картины в Москву. «Мои картины производят фурор, – сообщает Федотов Дружинину, – и мы здесь помышляем устроить маленькую выставку из моих эскизов и конченных работ. Новым знакомствам и самым радостным теплым беседам нет конца. Каюсь здесь, кстати, в одном прегрешении: моя стихотворная безделушка ходит по рукам, и меня часто заставляют ее читать».

Федотов бывает в салоне Е. П. Ростопчиной, знакомится с московскими писателями, в разных домах демонстрирует картины, читает стихи. Профессор Московского университета И. М. Снегирев записывает в дневнике:

«24/II – 1850. На вечере был у С. П. Шевырева, где Островский читал свою оригинальную комедию «Банкрот», Федотов казал свою картину «Сватовство майора к купеческой дочке» с объяснениями в стихах, а Садовский забавлял нас своими рассказами о республике французской. Там были профессеры: Армфельд, Соловьев, Грановский, Варвинский, Погодин, кроме того, Свербеев, Хомяков, Буслаев, Кошелев, Меншиков, несколько студентов, затем ужинали.

24/III – 1850. На вечере был у Корнильева, где встретился с Ф. Глинкою, губернатором Капнистом и пр. Павел Андр. Федотов читал свои объяснения в стихах картинам из народного быта. Ужинали».

Кроме того, Федотов бывал у П. Я. Чаадаева, А. П. Ермолова. Его друг П. С. Лебедев вспоминает,

что Федотов «всегда с удовольствием вспоминал о радушном приеме москвичей».

При жизни Федотова ни одно из его литературных произведений не было напечатано. Изданная в 1857 году в Лейпциге поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора» была запрещена для распространения в России, и лишь в 1872 году эта поэма увидела свет в сокращенном цензурой виде. В настоящее время литературные произведения Федотова включаются в историю русской поэзии и совершенно закономерно занимают свое место в сборнике «Поэты 1840 – 1850-х годов» серии «Библиотека поэта».

Василий Григорьевич *Перов* (1834–1882) в своем творчестве выступает прямым наследником Федотова: и в том, что из всех видов живописи избрал преимущественно жанр, и по демократичности направления, и в том, что на первых порах иногда прямо подражал его работам. Одна из ранних, 1860 года, картин Перова «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» вызывает в памяти не только федотовские работы вообще, но даже совершенно конкретную вещь – «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик». На картине Перова изображен молодой, но не юный, человек с тупой и надменной физиономией, стоящий босиком, но притом в гордой наполеоновской позе. Идет примерка новых – штучных – модных, полосатых – брюк. Старуха портниха из так называемых домашних, которая за недорогую цену обшивает всю семью, что-

то прилаживает: наверное, впервые ей довелось шить такую модную вещь, и можно предполагать, какова она получится. Рядом мать новоиспеченного чиновника в простой крестьянской одежде утирает слезы уголком платка. В отдалении стоит отец-дьячок, вся поза его выражает почтительность к сыну, в руке он мнет снятую при входе шапку... На стене висит гитара... Эта картина – настоящее повествование, по ее деталям можно многое рассказать и о предыстории события, изображенного на ней, и о взаимоотношениях действующих лиц, и о характере главного героя, да и о его будущем – тут все высказано и все досказано. В искусствоведческой литературе встречается характеристика «Первого чина» как «самой федотовской» картины Перова.

Столь «федотовская» картина показывает, под влиянием какого круга общественных идей, литературных и художественных произведений изначально развивался и складывался талант Перова.

Если творчество Федотова сопоставимо с творчеством Гоголя, то имя Перова связывается с именами писателей иного времени – с Н. А. Некрасовым и Ф. М. Достоевским.

Картину Перова «Проводы покойника» (ее называют также «Похороны» и «Деревенские похороны») сопоставляют с эпизодом поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос». Такое сопоставление оправдано: поэма издана в 1863 году, картина написана в 1865 году. Однако достаточно обратиться к тексту поэмы и можно убедиться, что это не иллюстрация.

Но в то же время сходство неоспоримо: сходство в сюжете, в настроении, в социальной трактовке темы, в гражданском направлении. Эти произведения идейно близки.

В. В. Стасов писал о ней: «Перов создал в 1865 году одну из лучших своих картин: «Деревенские похороны». Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию. (...) Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно «объясняло» ее, оно «произносило свой приговор» над ее явлениями».

Творчество Перова целиком отвечало той роли, которую отводили революционные демократы искусству, он был одним из ярчайших выразителей в искусстве идей шестидесятников. На этот путь он встал сознательно и убежденно с самого начала творческой жизни.

Любовь к родной стране, к народу, боль за его страдания лежали в основе деятельности шестидесятников. «Я лиру посветил народу моему», – сказал Некрасов. Так же поступил и Перов. Отправленный пенсионером от Академии художеств в Париж, он присылает до истечения срока своего пребывания такое прошение в совет академии:

«Осмеливаюсь покорнейше просить Совет о позволении возвратиться мне в октябре месяце 1864 года в Россию. Причины, побудившие меня просить об этом, я постараюсь здесь представить: живя за границею почти два года и несмотря на все мое желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая

была бы удовлетворительна, – незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ; я уведомлял Совет Академии о начатых мною работах, которыми я занимаюсь и в настоящее время, и буду иметь честь их представить в Академии в октябре месяце этого года, но не как конченные картины, а как труды для разработки технической стороны искусства; посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего Отечества. Имею в виду несколько сюжетов из русской жизни, которые я бы исполнил с любовью и сочувствием и, надеюсь, более успешно, чем из жизни народа мне мало знакомого; при этом желание сделать что-нибудь положительное и тем оправдать милостивое внимание ко мне Совета – дает мне смелость надеяться на снисхождение к моей покорнейшей просьбе».

Перову было разрешено вернуться. Один из первых русских сюжетов, над которым он работает по возвращении из Парижа, была картина «Проводы покойника».

В своих жанровых картинах Перов обнаруживает склонность к повествовательности и подробной описательности, его «Первый чин» можно назвать с большим основанием физиологическим очерком, подробно и в развитии исследующим определенное социальное явление. Впоследствии художник избавляется от излишних подробностей, от этого

главная идея и образ становятся значительнее, символичнее. Показательна в этом отношении работа над картиной «Утопленница». В первоначальном варианте изображена вокруг утопшей женщины толпа: тут и купец, и отставной солдат, и чиновник в цилиндре, и художник с папкой, и газетный репортер, расспрашивающий жандарма, и еще целый ряд персонажей. В окончательном варианте ничего этого нет. Только распростертое на набережной тело женщины и старик полицейский, который, присев на борт лодки, курит трубку и задумчиво смотрит на женщину. Было – городское происшествие, стало – раздумье о жизни, о несчастной, загубленной жизни.

Перову запомнились слова одного из преподавателей Училища живописи, ваяния и зодчества С. К. Зарянко о границах и возможностях живописного полотна (Перов воспроизвел их в воспоминаниях «Наши учителя»): «Живописи доступно все видимое, но только неподвижное: если же она и изображает что-либо движущееся, то может это движение изображать только в один момент. Другими словами: живописи доступны явления моментальные, но она никак не может и никогда не должна изображать времени и действия, а также и момента, нераздельного с этим действием». Рассуждение С. К. Зарянко вспомнилось Перову, вероятно, еще и потому, что он сам задумывался о том, что в картину он не смог вместить все, что хотел бы рассказать в ней. Обращение Перова к литературному творчеству было закономерно

и, можно сказать, неизбежно.

Перов был внимательным, тонко чувствующим и понимающим литературу читателем. Но ему была понятна также и психология писателя, что дало ему возможность написать ряд портретов писателей, отмеченных большой глубиной постижения, по которым и складывается наше представление о внешнем облике писателя, как бы оттесняя все другие изображения, потому что в этих портретах слиты внешний и внутренний, творческий образы писателя. Ведь еще Н. М. Карамзин в статье «Что нужно автору?» утверждал: «Творец всегда изображается в творении и часто – против воли своей». Перов написал портреты А. Н. Островского, В. И. Даля, Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, А. Ф. Писемского, М. П. Погодина. Вот отзыв современника о портрете М. П. Погодина работы Перова: «Портрет, снятый... с г. Погодина, замечателен не только по исполнению, но и по тому совершенству, с каким художник понял характер московского писателя, окружив его старческое лицо подходящею обстановкой: никакой другой костюм, кроме этого патриархального халата нараспашку, никакой другой аксессуар, кроме этого посоха, как бы взятого из некоего древлехранилища, никакое другое седалище, кроме этого кресла, не соответствовали бы представлению, которое выносишь об этом писателе из его сочинений». О портрете Достоевского А. Г. Достоевская рассказывает: «Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставлял Федора Михайловича в самых различных настро-

ениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете «минуту творчества Достоевского»...» «Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы «в себя смотрит».

Литературное наследие Перова сохранилось и дошло до нас скорее всего частично. В печати его произведения появлялись лишь в течение короткого времени, в последние годы его жизни, но, видимо, создавались в разное время, и можно предположить, что художник к литературному труду обращался не только в тот отрезок времени, когда печатался.

Можно продолжить сравнение сюжетов картин Перова с некрасовскими: «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду» Перова и «Плач детей» Некрасова, «Охотники на привале», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» – также вызывают в памяти некрасовские образы, описания. Но общность творчества Перова и Некрасова гораздо глубже, чем частные, хотя бы и очень важные совпадения, – общей является их общественно-идейная основа, их отношение к главному вопросу времени – крепостному праву.

Основная тема творчества Некрасова – крепостное право. Реформа 1861 года не облегчила положения крестьян. Крепостное право, вьевшееся в психологию, в самую натуру че-

ловека, продолжающее оказывать свое мертвящее и разрушительное влияние на общество после официальной отмены, — об этом писал Некрасов во многих стихотворениях, поэмах, в «Кому на Руси жить хорошо».

Та же тема и в творчестве Перова. В его литературных произведениях она получила такое же глубокое воплощение, как и в живописи.

Перов рассматривает ее с единственно плодотворной точки зрения: не с точки зрения постороннего (хотя бы и благожелательного) наблюдателя, а с точки зрения самого крепостного и бывшего крепостного, потому что только так, побывав в шкуре крепостного, можно по-настоящему понять, что это такое. Ведь и Некрасов про не испытавших на себе трагедию рабства сказал:

Была капель великая
Да не на вашу плешь.

Страшное влияние, которое крепостное право продолжало оказывать на общественную жизнь России и после его отмены, описывает Перов в рассказе «Под крестом». И опять-таки вспоминаются строки Некрасова:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилась:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Оставшийся после освобождения без всяких средств к существованию старик крепостной Христофор Барский мечтает попасть в богадельню. Богатый купец Щукин устраивает старика в приют, но при этом он унижает его, и старик, в котором, несмотря ни на что, живо человеческое достоинство, предпочитает умереть на улице, чем переносить унижения богача. «Конец мой близок, – говорит он, – и в новое рабство, еще более постыдное, чем то, в котором я находился весь свой век, больше не пойду!»

И еще одного писателя как параллель к творчеству Перова нужно назвать – это Достоевский. «Целый ряд его картин, – писал о Перове Н. Н. Ге, – в которых изображены и страдания детей, и страдания женщин, и страдания взрослых людей, вообще говорит о том, что страдание ему было знакомо, что он его видел и чувствовал и хотел его выразить». Совершенно «Достоевский» рассказ Перова «На натуре».

Параллели с творчеством писателей-современников не заключают в себе никаких указаний на подражание, они свидетельствуют лишь о том, что в литературном творчестве Перов обращается к тем же темам и подходит к ним так же, как передовая современная литература.

Рассказы Перова сами по себе замечательные литературные произведения. Яркие, точные, поистине изобразительны его описания. Он виртуозно владеет языком. Об его портретах один современник писал: «Поглядите пристальнее на пе-

ровский портрет, и, если вы знакомы с изображенною личностью, немудрено, что вам почудится, послышится голос знакомца». В рассказах голос, вернее множество голосов, потому что каждый персонаж говорит по-своему, – как, например, толпа в рассказе «Медовый праздник в Москве», – слышен так отчетливо, будто не читаешь написанное, а слышишь живую речь.

Константин Алексеевич *Коровин* (1861–1939) выступил в печати как писатель в 1929 году. Ему тогда было уже 68 лет. Сам Коровин на вопрос «Как вы стали писателем?» в 1934 году ответил так: «Был я болен, живописью заниматься не мог, лежал в постели. И стал писать пером – рассказы. Закрывая глаза, я видел Россию, ее дивную природу, людей русских, любимых мною друзей, чудаков, добрых и так себе – со всячинкой, которых любил, из которых «иных» уже нет, а «те далече»... И они ожили в моем воображении, и мне захотелось рассказать о них». В письме 1925 года из Парижа в Москву Б. Б. Красину он также рассказывает о начале писательства. В то время его сын Алеша лежал в больнице и находился в тяжелом психическом состоянии. «...Я живу воспоминаниями о друзьях (...) – писал в этом письме Коровин. – Каждый час я (вспоминаю) и даже написал целую книгу «На рыбной ловле» и посылаю написанное в больницу к Леше, стараясь развлечь его печальный дух. Я читал Феде (маленькому Шаляпину) и дочери П. Ключевского – юные сердца меня похвалили».

Первые же опубликованные литературные произведения Коровина обратили на себя внимание яркостью, занимательностью, незаурядным литературным талантом и мастерством.

В 1932 году, в связи с пятидесятилетием творческой деятельности Коровина, критик Валериан Светлов (Ивченко) писал о художнике: «Он еще поэт и художник слова. Кто слышал его удивительные рассказы в дружеской беседе, тот никогда не забудет их юмора, их красочности, их непосредственной прелести потому, что рассказчик Коровин говорит так, как он пишет картины: он находит для рассказов оригинальные словесные краски, блики, штрихи, как находит их на своей палитре для картин. В последнее время он стал печатать эти рассказы, воспоминания, эпизоды своей многообразной жизни, и в этих литературных произведениях нет «литературы», в них неиссякаемым ключом бьет сама жизнь со всеми ее красками. Перед читателем возникают образы, пейзажи и сцены, как будто он видит их написанными на холсте в той же живой, блестящей, импрессионистской манере, которая является органической природой этого изумительного художника-поэта».

Литературное творчество занимало у Коровина в последние десять лет его жизни очень большое место. Даже в просто количественном отношении оно огромно. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков в предисловии к весьма объемистому тому литературных произведений Коровина («Констан-

тин Коровин вспоминает...» М., 1971) сообщают, что с 1929 по 1939 год он опубликовал более 360 мемуарных очерков, рассказов, сказок, книгу «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» и, кроме того, остались еще неопубликованные рукописи.

Начав с воспоминаний – первым был подготовлен к печати и напечатан очерк «Из моих встреч с А. П. Чеховым», – Коровин уже в них выступает не как протоколист-информатор о том, чему был свидетелем, а создает художественные образы. Он строго отбирает факты, так как рассказать мог несравнимо больше, чем попало на страницы его воспоминаний, выделяет и подчеркивает ту или иную черту характера персонажа. Он создает свои мемуарные очерки по законам художественной прозы. Конечно, говоря о таких своих современниках, как А. П. Чехов, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан, Ф. И. Шаляпин и другие, Коровин все же выступал прежде всего в роли мемуариста и был связан необходимостью точно следовать фактам. Это ограничивало его художественную свободу. Поэтому довольно скоро в его литературном творчестве начинает преобладать иной жанр: рассказ, в основе которого лежат действительные случаи и у героев которого существуют реальные прототипы. Но при этом в передаче Коровина случай приобретает характер типичных обстоятельств, а прототип преобразен в характерный для данного времени и определенного социального слоя тип.

Появление литературных произведений Коровина наряду с восхищением вызывало и удивление современников, даже самые близкие друзья, например Шаляпин, не подозревали в нем литературного дара. Однако обращение Коровина к литературе было закономерно. Его литературная одаренность, чувство языка и стиля проявлялись и раньше, но в основном лишь в устной форме. (Правда, еще в 1890-е годы он делал отдельные записи в альбомах, но в более или менее законченные литературные произведения не оформлял.)

По многочисленным свидетельствам современников, Коровин был великолепным рассказчиком. А. Н. Бенуа сравнивает его с Шаляпиным, также пользовавшимся у современников славой мастера рассказа.

«Чудесно умел рассказывать Шаляпин, – пишет Бенуа, – и нельзя было не заслушаться Федора, но из этих двух я все же предпочитал Коровина. Шаляпин повторялся, у Шаляпина были излюбленные эффекты, а актерская выправка сказывалась в том, что эти свои эффекты он слишком заметно подготавливал. У Коровина были и небылица сплетались в чудесную неразрывную ткань, и его слушатели не столько «любовались талантом» рассказчика, сколько поддавались какому-то гипнозу. К тому же память его была такой неисчерпаемой сокровищницей всяких впечатлений, диалогов, пейзажей, настроений, коллизий и юмористических деталей, и все это было в передаче отмечено такой убедительностью, что и не важно было, существовали ли на самом деле те люди, о

которых он говорил; бывал ли он в тех местностях, в которых происходили всякие интересные перипетии; говорились ли эти с удивительной подробностью передаваемые речи, – все это покрывалось каким-то наваждением, и оставалось только слушать и слушать».

О сходстве и различии характера рассказов Шаляпина и Коровина пишет в своих воспоминаниях и артистка МХАТа Н. И. Комаровская. «Коровин был великолепным рассказчиком. Наблюдательный, с острой памятью, обладающий большим юмором, он превращал свои жизненные наблюдения в живые сценки, создавая целую галерею типов. С Шаляпиным у них установилось нечто вроде своеобразного соревнования. Кто только не был объектом этих рассказов! Сюжет варьировался бесконечно, импровизировались положения, в которые неожиданно попадали их герои. Подчас трудно было установить авторство. Бывало так, что рассказ Шаляпина прерывался неожиданным замечанием: «Постой, Федор, – останавливал его Коровин, – это же мое». «Извините, Константин Алексеевич, – ехидничал Шаляпин, – автор этого рассказа я». Впрочем, эти пререкания нисколько не мешали им продолжать и усложнять эту игру. Что касается сюжета, его занимательности, неожиданных развязок, то тут пальма первенства, безусловно, принадлежала Коровину. Зато Шаляпин успешно конкурировал с ним исключительным даром вхождения в образ того или иного лица: манера, голос, интонация передавались в совершенстве. Успех этих импро-

визаций, особенно в артистической среде, был неизменным. Одним из любимых героев этих рассказов был «купец Иван Панкратич». Миллионщик, невежда, мнящий себя меценатом, Иван Панкратич едет за границу. Его сопровождает кичащийся своей «образованностью» управляющий. Диалоги Ивана Панкратича с управляющим, путающим все иностранные слова и названия, и возникающие попутно недоразумения составляли канву рассказа».

Комаровская также сообщает о том, что Коровин «легко владел стихом и ради шутки иногда импровизировал то «под Бальмонта», то «под Игоря Северянина».

Коровин с раннего детства отличался острой восприимчивостью к образному слову. Он вспоминает, как совсем маленьким слушал рассказываемые неграмотными няньками русские народные сказки. «Окружающие меня простые люди, – вспоминает он, – не могли удовлетворить здоровой любознательности ребенка и развлекали мою пытливость различными сказками с их бесконечной для ребенка таинственностью. Сказочные герои, навеянные этими рассказами, в воображении моем получали хотя довольно неопределенные, но зато грандиозные образы. Я сам воображал себя героем этих сказок. Все окружающее меня: двор, деревенские бани, лес – все это наполнялось различными призраками. Такое фантастическое направление моего детского ума приучило меня смотреть на природу как на что-то одушевленное и, может быть, было первым важным зародышем моих

художественных стремлений». И другое, сильнейшее литературное впечатление детства: творчество Пушкина. Бабушка Коровина – Е. И. Волкова – видела Пушкина и рассказывала внукам о нем, она говорила, что «это был самый умный человек в России». «Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было полно им: и вечер, и зимняя дорога, тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, дорога, остановка на постоялом дворе, калачи, поросенок, икра, и месяц, и страшный лес на дороге. И нравился мне Пушкин. Как верно и хорошо он написал про что-то, все самое мое любимое. И я знал уже много его стихов наизусть».

Стихия народной речи, фольклора и высшие образцы литературы письменной, профессиональной – творчество А. С. Пушкина легли в основу литературного воспитания и образования Коровина, и под влиянием этих двух начал сформировался его литературный талант.

Коровин много читал. Читал не для того, чтобы блеснуть начитанностью, а для себя. В. С. Мамонтов, долголетний приятель Коровина, в своих воспоминаниях говорит: «За наше долготное знакомство я решительно не помню, да и не могу себе представить Костеньку читающим какую-нибудь книгу». Легенду о «невежестве» Коровина подхватили некоторые искусствоведы, встречается она, к сожалению, и в современных статьях и книгах. Однако сообщение Мамонтова далеко от истины и характеризует, видимо, более самого

автора, чем Коровина. Например, Н. М. Комаровскую «многосторонность знаний» Коровина поразила при первом знакомстве. Глубокие и разнообразные знания Коровина проявлялись в подходе к работе над декорациями к пьесам европейской и русской классики, где требовалось понимание замысла автора, знание эпохи, то есть хорошее знание литературы, в том числе и научной. Уже при поступлении в Училище живописи, ваяния и зодчества на экзамене обнаружилось, что четырнадцатилетний Коровин прочел «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина, «Историю России» С. М. Соловьева.

В классической русской литературе Коровин выделял Пушкина и Лермонтова, в западной – Шекспира. К сожалению, прямых высказываний о литературе, о творчестве того или иного писателя (исключая Пушкина) у Коровина почти нет. Причина этого заключается, видимо, в том, что он, не считая себя достаточно компетентным, сознательно избегал оценок. Однако вообще литературу он ставил очень высоко, отмечал ее влияние на общество и ответственность перед обществом. «Слово – величайший дар, – утверждал Коровин, – и обращаться с ним нужно честно».

Собственное литературное творчество Коровина самобытно и оригинально, в нем проявились те же черты выразительности, те же творческие принципы, что и в его живописи, но средствами литературы. В то же самое время оно входит в литературу определенной эпохи и связано с творче-

скими поисками и стремлениями других писателей, несет на себе отпечаток времени. В этом отношении Коровин наиболее близок, пожалуй, к Бунину.

Коровин называл свои сочинения «рассказами о любви к людям». Он бесконечно верил в силу эмоционального, художественного воздействия искусства. «Моей главной, единственной, непрестанно преследуемой целью в искусстве живописи всегда служила красота, эстетическое воздействие на зрителя, – говорил он, – очарование красками и формой. Никогда никому никакого поучения, никогда никакой тенденции, никакого протоколизма. Живопись, как музыка, как стих поэта, всегда должна вызывать в зрителе наслаждение. Художник дарит зрителя только прекрасным». Но это ни в коей мере не значит, что у Коровина не было никаких убеждений, они у него были, и он твердо следовал им. Ему свойственны демократизм, гуманизм, любовь к людям и всему живому, мечта и вера в справедливость. «...Только в справедливости создается жизнь (...) – писал он в 1920-х годах. – Я не хочу и не хотел говорить неправды о ценном.

Я никого не осуждаю. Это не осуждение. Это защита моего понимания прекрасного, солнца, жизни и свободы, свободы для добра, а не зла (...) Во мне есть защитник блага для человека (...) Вы на это скажете, что миры кончаются. Верно то. Но ценности-то не кончаются. Ведь они заставят себя ценить, так как они дух есть. Это ведь жизнь и ее лучшее».

Творческий метод Коровина, необходимость «натуры»

определили собой и тематику его произведений. Он родился, вырос и жил в Москве, любил и знал Москву. (Характерно, что спустя десятилетия он вспомнил слова А. А. Пушкина – старшего сына поэта о том, что его отец говорил, что «любит зиму и Москву».) Москва, московский быт, московские типы конца XIX – начала XX века – содержание многих его рассказов. С большой проникновенностью, любовью и знанием описывает он природу, животных; «на природе, в лесах, далях, в тишине на приволье человек тишает и умнеет – добреет человек», – говорит один из героев его рассказа, и таково же мнение автора. Ряд рассказов посвящен его путешествиям по России и за границей, и тут, замечая множество живописных и характерных деталей, он всюду – в людях и природе – ищет и находит доброту.

Аполлинарий Михайлович *Васнецов* (1856–1933) известен как создатель единственной в своем роде серии работ, посвященных истории Москвы. В автобиографических заметках «Как я сделался художником и как и что работал» об этой области своей творческой работы он говорит: «Многие задают мне вопрос: почему я занялся старой Москвой и так увлекся ею? На это трудно ответить. Может быть, потому, что я люблю все родное, народное, а старая Москва – народное творчество в жизни прошлого. Может быть, повлияло и то, что, очутившись в Москве в 1878 году после деревенской жизни в селе Быстрице – месте моей учительской деятельности, был поражен видом Москвы, конечно, главным

образом Кремлем. Жил неподалеку от него, на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было «кружение около Кремля»; я любовался его башнями, стенами и соборами... Но едва ли не главной причиной было то, что я вообще люблю науку: собирать материал, классифицировать факты, изучать их и т. д., в данном случае факты археологического значения. Все это, вероятно, и послужило главной причиной тому, что для всех интересующихся искусством на мне написано: «Старая Москва».

Картины и рисунки Васнецова, изображающие старую Москву, производили на современников, как производят и сейчас, большое впечатление. «Его художественные работы, в которых он воскрешает облик старой Москвы разных периодов, – писал о Васнецове К. Ф. Юон, – производят впечатление выполненных непосредственно с натуры. Они настолько убедительны и правдивы, что могут служить буквально документами о прошлом времени».

Но такое впечатление обусловлено не только их документальностью, но и – а может быть, и в первую очередь – художественной убедительностью, художественной правдой. Ф. М. Достоевский о картине Перова «Проповедь в селе» сказал: «Тут почти все правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту». Такая же художественная правда присуща и работам Васнецова о старой Москве.

Обычно, представляя свое новое произведение о Москве

на заседании общества «Старая Москва», Васнецов сопровождал показ докладом. Доклады Васнецова наряду с историческими справками, ссылками на документальные источники заключали в себе порой и художественные описания. Средствами слова он воссоздавал эпоху не менее впечатляюще, чем изображал ее на картинах.

Васнецов был многосторонне талантлив: он занимался астрономией, геологией, историей, писал очерки, рассказы, повести. В 1880 – 1910-е годы он напечатал в различных периодических изданиях очерки «Святки в селе», «Из поездки на Урал», рассказы «Сельский иконописец», «Дедушкино бюро» и др., в его архиве сохранились также неопубликованные литературные произведения.

В юности Васнецов находился под влиянием революционных народнических идей, сам «ходил в народ», и это наложило отпечаток на все его дальнейшее творчество: тема народа, народной жизни вошла и в его картины о старой Москве, она же является и главной темой его литературных произведений, написанных в традициях, русской демократической литературы конца XIX – начала XX века. Васнецов был близок к кружку Н. Д. Телешова «Среда», на заседаниях которого читал свои рассказы.

В 1930 году Васнецов подготовил для издания книгу своих литературно-художественных произведений, в нее вошли и печатаемые в настоящем сборнике рассказ «Сельский иконописец» и очерк «Облик старой Москвы».

Литературное наследие Николая Константиновича *Рериха* (1874–1947) сейчас известно достаточно хорошо, опубликованы многие его публицистические статьи, описания путешествий, стихи, художественная проза. Вся литературная и общественная деятельность Рериха преследовала одну цель: защиту созданной человечеством культуры от гибели, от посягательств различного рода варваров и милитаристов. Сейчас вопросы, поднятые Рерихом, стоят перед человечеством еще более остро, чем в его время. Экология культуры – вот та область, в которой решается будущая судьба человечества. Культура – это знание, это нравственность, это единственное, что связывает человечество, ибо все остальные области только разъединяют. Гуманистическими идеями пронизано все литературное творчество Рериха, и о чем бы, и в каком бы жанре он ни писал, главная идея его жизни и творчества прослеживается очень четко. Литературно-художественные произведения также не являются исключением.

Стихи, рассказы, сказки, притчи, путевые очерки – вот основные жанры художественной прозы Рериха.

Грань XIX и XX веков в России – время усиливающегося интереса к русской национальной культуре, он проявляется и в произведениях литературы, и в изобразительном искусстве. Все более и более начинают привлекать внимание общества вопросы охраны архитектурных памятников. Рерих становится одним из главных деятелей этого движения. Он проводит свои идеи в живописи, в литературной и обще-

ственной деятельности. Но надобно иметь в виду, что Рерих, говоря о национальной русской культуре, вовсе не противопоставлял ее никакой другой культуре, он рассматривал ее развитие в ряду всех других национальных культур.

Первоначальной задачей своих работ он считал пропаганду идеи международного культурного обмена. «Только на почве истинного осведомления, на почве подлинного знания установятся отношения между народами, – утверждал он, – настоящим проводником будет международный язык знания и искусства. Эти проводники могут установить глаз добрый, так необходимый для созидания. Ибо путем грубости, вражды, поношения все равно никуда не прийти и ничего не сделать. А в природе человека осталась же душа, осталась же совесть, которая стремится к справедливому познанию. Долой все темное, все злобное. Человечество уже достаточно почувствовало на себе темную руку зла».

В натуре Рериха соединялись как бы два начала: научно-исследовательское и художественное. При этом он ощущал потребность свои научные исследования воплотить в художественной форме. По требованию отца, относившемуся с неодобрением к его желанию стать художником, он должен был окончить юридический факультет университета. Правда, и здесь Рерих находит точки соприкосновения со своими художественными интересами. Для дипломной работы он выбирает тему «Правовое положение художников древней Руси», которая заключала в себе обе особо интересующие

его области – историю и искусство. Рерих уже в самом дипломе выходит за пределы собственно юридических вопросов, в проспекте он так раскрывает его содержание: «Русское живописное дело – положение художников, их быт, жалование, права, обязанности»; в процессе работы над дипломом он углубляется в историю древнерусской культуры и приходит к выводу: «В древней и самой древней Руси много знаков культуры: наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники». Работа «Правовое положение художников древней Руси» представляет собой основательный и серьезный исторический труд. Но Рерих не ограничивается написанием научной работы, на ее материалах он пишет рассказ «Иконный терем» о русских художниках второй половины XVII века – мастерах московской Оружейной палаты. Для русского изобразительного искусства это было очень важное время перехода от древнего – преимущественно церковного – искусства к светскому, новому, более заметной становится роль индивидуального творчества, личности художника. Пафос рассказа – в выявлении и утверждении значения художника в общественной жизни страны, народа.

Из рассказа Рериха «Иконный терем» читатель узнает о работе московских живописцев, их обычаях, быте, отношении к своей работе и творчеству вообще. Рерих цитирует постановление Стоглавого собора (XVI в.), в котором говорится, как высок должен быть нравственный облик художника:

«Подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, наипаче же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением».

Идея рассказа Рериха – прославление творчества. Творчества честного, самоотверженного, высоконравственного, нужного людям.

Повсюду у Рериха мы встречаем противопоставление созидания – разрушению, добра – злу. Своим творчеством он воспевает созидание и добро и восстает против разрушения и зла, в каком бы облике они ни проявлялись.

Описания путешествий Рериха по России и зарубежным странам – значительная и яркая часть его художественной прозы.

Живописность описаний, интересные и живые картины современной жизни народа, экскурсии в историческое прошлое в его путевых заметках сочетаются с яркой публицистикой. Среди множества вопросов его волнует проблема сохранения исторических памятников. Написанное им в 1900 году, чуть ли не сто лет назад (впрочем, для истории человечества, культуры народа – срок не такой уж большой), сохраняет свое значение и сейчас: «Вечная история! Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться, – на постройки или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания, а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых ис-

торических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью? – думается, такое время все-таки да будет». Это из очерка «По пути из Варяг в Греки», посвященного поездке по русскому Северу.

Сказки и стихи Рериха, относящиеся к началу XX века, по тематике и идеям общи с его живописью и другими сочинениями. Одновременно они отразили в себе поиски и формы современной русской литературы, и прежде всего того широкого и плодотворного спектра литературных явлений, которые получили условное название символизма. Брюсов, Блок, Ремизов, Городецкий, Федор Сологуб – вот первые приходящие на память имена, с чьим творчеством обнаруживается соприкосновение у Рериха. Но при этом необходимо оговориться, что тут чаще всего нет прямого влияния, причина совпадений – влияние эпохи, они были современниками и сотворцами искусства и литературы своего времени.

Имя и живопись Ефима Васильевича *Честнякова* (1874–1961) в последнее десятилетие получили всемирное признание. Но еще во многом неизвестен и загадочен его облик, еще не раскрыто и не осознано его место в истории русского искусства и шире – русской культуры. В очень незначительной степени опубликовано его литературное наследие. Од-

нако и то, что мы знаем, дает право предполагать, что в будущем это имя станет вровень с именами крупнейших деятелей отечественной культуры первой половины XX века.

Сын недавнего крепостного крестьянина из глухой костромской деревни, он в раннем детстве почувствовал «страсть к рисованию», затем великую тягу к знанию, добился права и возможности учиться в Академии художеств у Репина, выучившись, получил высокую оценку учителя: «Вы уже художник», ему советовали ехать со своими работами в Париж, предрекая славу, а он вернулся в родную деревню и прожил там всю жизнь, крестьянствуя, деля судьбу с земляками и занимаясь их художественным и культурным просвещением.

В 1914 году, когда началась первая мировая война, он обращается с призывом ко всему Человечеству:

«Собратья страдающие, дети земли! Кто бы вы ни были, обращаюсь к вам, ибо кажется мне, что все вы думаете одно, все желаете мира, но не имеете средства, чтобы могли сказать об этом все и всем, чтобы все слышали вас. Вот я говорю вам, и будто видится мне, что говорю то, что вы хотите сказать: прекратите войну, примиритесь, изберите все народы от себя представителей, чтобы они собрались в одном месте и обсуждали международные нужды, желания, и чтобы ваши обсуждения тотчас же рассылались печатью, телеграфом, иными средствами по всей земле, и чтобы со всей земли суждения ваших собраний сообщались международному

учреждению, и чтобы таким образом вырабатывались незамедлительно и обстоятельно условия мирных отношений.

Прекратите теперь же военные действия и, пока идут мирные переговоры, займитесь культурной работой и собеседованиями, обсуждением переговоров международного собрания и выработкой своих проектов к мирному улажению международных отношений...»

За словами этого призыва встает образ благородного, но наивного утописта. Да, это действительно утопия, если рассматривать призыв в связи с последующими событиями войны. Но если взглянуть на него с точки зрения здравого смысла и логики, то он не так уж и утопичен. Действительно, народы желают мира и мирное, полюбовное решение спорных вопросов, конечно, предпочтут войне, поэтому открытые, гласные, контролируемые народом переговоры политиков, безусловно, должны привести к «мирному улажению международных отношений». Честняков верил в коллективный разум народа и в то, что в конце концов народ будет сам решать свои дела. Эта вера лежала в основе его жизненной философии, которую он всей своей жизнью попытался воплотить практически. Здесь он выступил трезвейшим реалистом. Он начал с собственной деревни. Неся в народ знания, развивая его эстетический вкус, проповедуя гуманистические идеи, он, по его убеждению, способствовал естественному ходу развития истории. «Род человеческий, – писал он, – путем страданий и труда освобождается от тьмы и

бедствий... идет к свету, правде». Как символ будущего он создал образ Города Всеобщего Благоденствия. О нем он говорил, писал, его рисовал.

«Фантазия – она реальна, – утверждал он, – когда фантазия сказку рисует – это уже действительность... и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия...»

В выражении идей и художественно-эстетических образов живопись и литература («словесность», «поэзия», как называл он) служили Честнякову в одинаковой степени; в разные периоды жизни он ставил впереди то одно, то другое, но всегда говорил о них нераздельно.

В литературном наследии Честнякова сказки, пьесы, стихи, автобиографические рассказы, философские сочинения, самые разнохарактерные записи в записных книжках. В середине 1910-х годов он опубликовал несколько сказок в журналах, три из них издал отдельной книжкой. Отрывки и цитаты из его произведений напечатаны в различных статьях на страницах советской периодики в последние годы, в очередном (1985 г.) сборнике «Новые открытия советских реставраторов». Основная же часть его литературных произведений еще не опубликована.

В своем литературном творчестве Честняков исходил из основного принципа своей деятельности: народ сам должен творить свою культуру. Прежде всего, национальную по форме. В 1902 году в письме Репину он пишет: «Вся суть

дела в том, что не хочу я профанировать свою русскую душу, потому что не понимают, не уважают ее; и не хочу ее заметить скучной, корректной, лишенной живой жизни душой европейца – человека не артиста, полумашины. Поэтому мне и приходится гордо замыкаться в себе. Потому что в стране не мы хозяева: все обезличившее себя заняло первенствующие места, а великое русское – пока вынуждено молчать до «будущего». Но настоящее развитие национальной русской культуры он видит не в распространении «русских» сувениров, имитирующих кустарные поделки прошлого, а во внимании к настоящей, сегодняшней народной жизни. «Хотите воскресить задавленное самобытное русское? – размышляет он в заметке по поводу кустарной выставки в Петербурге в 1902 году. – Поздно: народ понимает, что его искусство навивно, и хочет большего. Действительно ли вы уважаете русскую нацию? Если – да, то покажите на деле, во всем – в государственном строе, во всех деталях жизни. До сих пор русский был вынужден скрывать свою душу». Честняков мечтал о создании «универсальной культуры», основанной на национальных началах с обогащением их опытом всемирной цивилизации. «Русский... от культуры других народов возьмет все, что ему нужно, – писал он, – и вместе со своим элементом создаст великую универсальную культуру».

Литературные произведения Честнякова написаны живым народным языком – не архаизированным, музейным, зафиксированным в записях фольклористов прошлых деся-

тилетий, и не сглаженным, занормативизированным литературным. Свое право писать именно таким языком он защищает в письме к редактору журнала, в котором его сказки подверглись языковой правке: «Нет у нас ни одного издания, которое бы печаталось чисто русским языком... язык их же-манный... от людей, фальшиво его понимающих. Это неправильный взгляд на живой язык, он вечно развивается, освобождает себя от неуклюжей громоздкости, стремится к музыкальности, легкости, красоте, к удобству произношения... Язык вырабатывается великим творчеством народа, и если книжники относятся к нему небрежно, то это признак того, что они не отличают в нем пшеницы от плевелов. Они тормозят совершенствование языка... А родной язык, очевидно, наши ученые хуже знают... потому, что комитеты эти, исследующие язык и издающие правила, сидят как бы между двумя стульями, а именно: между родной страной и чужими. Но вполне русской страны не знают...»

Сказки Честнякова – не пересказы народных сюжетов, они целиком авторские, но, написанные живым народным языком, который «стремится к музыкальности, легкости, красоте, к удобству произношения», они воспринимаются как высокий фольклор.

Проблема введения народного языка в литературное произведение – одна из важнейших проблем русской литературы начала XX века. В ряду писателей, занимавшихся ею – Ремизова, Чапыгина, Шергина и других вплоть до Бажова,

опыт Честнякова, пожалуй, из наиболее удачных.

Огромно было влияние Честнякова на односельчан. «Его советы все не мимо шли», – говорят о нем земляки. На его могиле они установили крест с надписью: «Спи спокойно, наш учитель».

«Радимов Павел я, художник и поэт», – сказал о себе в одном из стихотворений Павел Александрович *Радимов* (1887–1967). Его стихи и живописные полотна близки друг другу, как только могут быть близки литературное и живописное произведения. Одни и те же темы – пейзажи, деревенские бытовые сцены; те же изобразительные средства – неброские краски, скромные мотивы; небольшой размер – короткие стихи, малоформатные этюды (иной раз чуть больше почтовой открытки); и главное – одно и то же настроение безграничной, немногословной, тихой, но верной любви к родной земле и желание показать людям, сколько красоты заключено в самом обыденном, мимо чего проходят, порой не замечая.

Рисовать и писать стихи Радимов начал почти одновременно – в детстве. Он родился в семье бедного сельского священника, чей быт ничем не отличался от быта его прихожан – крестьян обычного подмосковного села.

Родители хотели, чтобы и сын пошел по отцовскому пути, его отдали в духовную семинарию, где обучение для детей священнослужителей было бесплатное, что, надобно сказать, играло в решении родителей большую роль. Учась в се-

минарии, Радимов с особой старательностью занимался на уроках рисования.

По окончании семинарии Радимов не захотел принимать духовного сана, он намеревался учиться дальше. Отец решительно отказался содержать его, если он пойдет учиться живописи, но согласился, чтобы сын поступил в университет. Радимов окончил Казанский университет по историко-филологическому отделению и стал преподавать литературу и историю искусств в Казанской художественной школе.

В 1908 году Радимов начал выступать на выставках, в 1911 году его картины были приняты на выставку Товарищества передвижников, это было уже признание. В 1912 году выходит его первый поэтический сборник «Полевые псалмы», в 1914 году второй – «Земная риза». Стихи Радимова были замечены. Среди положительных отзывов на эти книги был отзыв В. Я. Брюсова, особо отметившего поэму «Попиада», в которой обстоятельно, гекзаметрами была описана история сватовства и выход замуж бабушки автора Анны Петровны.

Стихами Радимова заинтересовался М. Горький. В письме начала 1920-х годов Л. М. Леонову из Сорренто он писал: «...судя по некоторым догадкам моим, Вы должны бы знать казанского поэта Радимова, автора интереснейшей «Попиады» и книги стихов «Земная риза».

Когда в 1928 году Горький приехал в СССР, Радимов встретился с ним лично. Сначала на официальном совеща-

нии. Радимов описал эту встречу в книге воспоминаний: «Вот он неожиданно повернулся, моя рука в его руке, говорит окающим баском: «Какой вы еще молодой! Знаете, где мы читали вашу «Попиаду»? В Сорренто. Знаете, кто читал? Шаляпин!» Затем были встречи на квартире у Горького. «Первая беседа началась со стихов, – вспоминает Радимов. – Горькому нравились мои деревенские гексаметры, он упомянул, что ему из этого цикла нравится стихотворение «Брань», где в горячем споре, пока стелют холсты, сошлись две горячие на слово и словцо кареглазые молодки».

Стихи Радимова высоко ценил С. А. Есенин, о его книге «Деревня» он сказал: «Мне эти стихи понравились, под ними и я бы подписался».

Тонкую и точную характеристику поэзии Радимова дал И. Е. Репин. В 1926 году группа советских художников, в том числе Радимов, ездила к Репину в Пенаты. «Я привез Репину свои книги стихов «Попиада» и «Деревня», – рассказывает Радимов. – Репин любил их слушать, но читать их ему самому было трудно, так как в стихах не было привычной его взору буквы «ять». «Как Гомер», – похвалил меня кто-то из друзей. «Нет, – тотчас же заметил Репин. – Как Фео-крит». Репин был прав: не подвиги войны, а деревенская идиллия были уделом моего творчества».

Избранная Радимовым форма – архаический гекзаметр – для описания современной деревни сначала вызывала недоумение, но только сначала, потому что буквально через

несколько строк читатель погружался в стихию деревенского быта, о котором повествовалось обстоятельно, детально, с эпической неторопливостью и сдержанной страстью и драматизмом. Радимов в обыденном, в сложившемся веками народном обиходном опыте увидел красоту и содержащийся в нем высокий смысл – материальную основу жизни человека, потому-то сельскохозяйственные работы, домашнее хозяйство, описываемые гекзаметром, не теряя своей знакомости, близости читателю, вырастают в эпос.

Радимов старался быть точным и близким к правде жизни. Он жил в деревне у старухи Даниловны, «бойкой говоруньи-свахи, охотницы до песен и до нечаянной рюмки», как он характеризует ее, и «ее простодушные рассказы... перекладывал в гекзаметрические стихи о деревне. Делал я это с большой точностью, упоминая в строках и подлинное имя героини».

Многие стихи Радимова посвящены Подмосковию (он родился в Коломенском районе и с начала 1920-х годов жил в Москве). Эти миниатюры, «простые стихи», как он называл их сам, воссоздают пленительные подмосковные пейзажи в разные времена года, описывают исторические места.

До преклонных лет Радимов сохранил и свежесть поэтического чувства, и способность воспринимать красоту и ощущать простые, но вечные и прекрасные радости, которые дарует общение с природой, его стихи, такие простые и понятные, в действительности полны глубинной и доброй муд-

рости: в юности это была мудрость поэтического прозрения, в старости ее обогатил и жизненный опыт.

Всего Радимов издал около двух десятков стихотворных сборников.

Константин Федорович Юон (1875–1958) пишет в автобиографии, говоря о вступлении в зрелый период своего творчества: «Моя художественная и общественная деятельность стала развиваться в четырех основных направлениях: 1) в области личных живописных работ; 2) в области педагогики; 3) как театрального постановщика-декоратора; 4) в области научно-художественной и критической». Четвертый пункт можно, точнее следовало бы, обозначить как литературную деятельность. Если бы автобиография писалась не в 1950-е годы, а в 1900-е, о которых идет речь, автор скорее бы всего сказал именно так или бы даже назвал это направление своей деятельности «писательским». В XIX – начале XX века термин «писатель» имел более широкое и общее значение, чем имеет теперь. Писателем называли всякого человека, пишущего и издающего свои произведения для широкой публики, существовало разделение по тематике литературной деятельности: «писатель по вопросам экономики», «писатель по медицинским вопросам», «писатель по вопросам искусства» и так далее. И в этом ряду существовало наименование «писатель-беллетрист». Но надобно отметить, что любой «писатель», пишущий для широкого круга, в свои произведения неизменно вводил элемент собственно

художественной, «беллетристической» литературы, некоторые из этих произведений сейчас назвали бы научно-художественными, иные художественной публицистикой, так что почти каждый «писатель по вопросам...» в своем творчестве то и дело вступал в область «писателя-беллетриста», хотя и не считал себя им. Наверное, самым очевидным и убедительным образом это проявилось в том случае, когда он обращался к чистому, безусловно художественному жанру. Юон наряду с критическими статьями, учебными трактатами, мемуарными заметками писал стихи.

Кстати, в стихах он сформулировал свои заветные мысли о сути труда художника, о его общественной роли и природе художественного творчества:

Художник тот, кто вместе с веком
Идет вперед своим путем,
Кто верит в разум человека,
Кто голос сердца слышит в нем.

Литература сопровождала Юона на всех этапах его жизни, в некоторые периоды она оказывала решающее влияние на его работу художника, и всегда он ощущал необходимость наряду с художественным творчеством обращаться к литературному.

Юон родился в Москве, на 4-й Мещанской улице, в то время окраинной, похожей более на улицу какого-нибудь заштатного городка или большого села – с садами и огорода-

ми, деревянными домами, провинциальной простотой. Но в то же время это была Москва с ее культурным влиянием: его старшие сестра и брат учились в консерватории, среди друзей родителей (его отец служил страховым агентом) был художник-любитель, который помог мальчику освоить начала рисования. «С восьми лет я начал заниматься живописью и не отходил более от нее», – рассказывает Юон в автобиографии. Темой его живописных работ становится Москва, преимущественно Москва историческая.

«Все основные черты, из которых складывалось мое будущее искусство, имели прочные корни уже в раннем детстве и юности. Так, мое пристрастие к историческим памятникам и преданиям воспиталось органически вместе с первыми детскими впечатлениями, воспринятыми мною в Лефортове – московской окраине, насыщенной историческими преданиями и памятниками петровского времени. В этой части Москвы я проживал с пятилетнего возраста вплоть до поступления в Училище живописи».

Дом, в котором жил эти годы Юон, стоит и сейчас (ул. Карла Маркса, 23). Этот особняк типичного московского ампира конца XVIII – начала XIX века, сохранившийся в пожаре 1812 года, по мнению специалистов, построен по проекту М. Ф. Казакова. В конце 1810-х годов дом принадлежал И. М. Муравьеву-Апостолу – отцу трех братьев-декабристов, здесь жили его сыновья, бывали многие декабристы. Невдалеке на той же улице возвышается церковь Никиты-мучени-

ка середины XVIII века – чудесный памятник стиля барокко, на Разгуляв – замечательный дворец конца XVIII века Мусиных-Пушкиных, в котором жил знаменитый владелец единственного списка «Слова о полку Игореве». Спускающиеся к Яузе улицы и переулки также сохранили немало памятников XVIII века, свидетелей эпохи Петра I.

Но не только сами исторические постройки, которые на улицах и в переулках Лефортова действительно встречались на каждом шагу, вызывали и воспитывали интерес Юона к ним, этот интерес одухотворяла литература. «Углублению моего интереса к Москве и ее историческим богатствам, – пишет Юон, – в значительной мере способствовали прочитанные в школьном возрасте замечательные исторические романы Загоскина, Лажечникова, А. К. Толстого и других авторов».

После окончания Училища живописи, ваяния и зодчества, в 1900–1903 годах, Юон находит свою тему творчества – образы старых русских провинциальных городов с их древней архитектурой и ярким современным бытом. Он едет в Нижний Новгород, Ростов, Углич, Торжок, Троице-Сергиеву лавру. «Поездки по городам, – пишет он, – я совершал иногда не без влияния и прочитанного. Меня тогда очень увлекали рассказы Горького, которого я до сих пор очень люблю. Первым городом, куда я поехал, был Нижний Новгород».

К своей литературной работе Юон относился с большой ответственностью. Идеалом для него был Пушкин. В стихо-

творении «А. С. Пушкину» (1946 г.) он пишет:

И ключ родного языка
В Твоих твореньях сбережется;
Для всех – пример Ты на века,
В ком сердце творческое бьется!

«Я люблю Пушкина, – говорит он в статье «Мой творческий путь», – и по-пушкински люблю русскую природу. Хотелось создать пейзаж по-пушкински – пейзаж Подмосковья, средней полосы России».

Юоновские пейзажи вошли в классику русской пейзажной живописи. Он любил природу, много писал ее.

Но несмотря на то что Юон писал много сельских пейзажей, несмотря на восторженную любовь к природе, все же главное место в его творчестве занимает город – старый русский город, и прежде всего Москва. Уже почти в конце жизни в одной из статей он пишет: «Всю свою жизнь пишу я Москву и все не насытюсь!»

И поэтому последний его литературный труд – книга «Москва в моем творчестве» – это вдохновенный рассказ не только о своем творчестве, но в первую очередь о Москве. Великолепные картины Москвы, увиденные глазами художника, тонко подмеченные черточки быта – все это окрашено личным отношением и создает яркий образ особой – юоновской – Москвы.

Завершает книгу Юон проникновенными публицистиче-

скими страницами о своей мечте, какой бы он хотел видеть Москву в будущем.

«Будучи старым патриотом Москвы, — пишет Юон, — я приветствую ее плановое строительство как новой советской столицы и ничего лучшего не могу пожелать ей, как бережно сохранить все памятники русского национального зодчества, являющиеся ценнейшим народным достоянием, и рядом с ними воздвигнуть новые творения архитектуры и искусства, достойные нашей великой эпохи».

Федотов, Перов, Коровин, Аполлинарий Васнецов, Рерих, Честняков, Радимов, Юон — художники очень разные, оригинальные. Так же своеобразно и оригинально их литературное творчество.

Вл. Муравьев

П. А. Федотов 1815–1852 гг.¹

К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям

Кто б ни был, добрый мой читатель,
Родной вы мой или приятель,
Теперь хочу я вас просить
К моим стихам не строгим быть.
Я не отъявленный писатель,
Хоть я давно ношусь с пером,
Да то перо, что носят в шляпе,
А что писатель держит в лапе,
Я с тем, ей-богу, не знаком
И не пускаюсь в сочиненья,
А уж особенно в печать.
Меня судьба, отец да мать

¹ «К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям», «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», «Рацея», «Пчела и Цветок», «Усердная Хавронья» печатаются по изданию: «Поэты 1840 – 1850-х годов». Л.: Советский писатель, 1972. (Библиотека поэта. Большая серия.) Остальные произведения по изданию: *Лецинский Я. Д.* Павел Андреевич Федотов. Художник и поэт. Л.; М.: Искусство, 1946.

Назначили маршировать,
Ходить в парады, на ученья
Или подчас в кровавый бой
За славой или на убой.
Но как от русского штыка
Дыра довольно глубока,
Враги все наши присмирели,
Ругая нас издалека,
Тревожить явно уж не смели, —
То я спокойно десять лет
Без пуль, картечь и разных бед
Возился с службой гарнизонной.
Вот довод, кажется, резонный,
Что не могу я быть поэт.
Не правда ль?... Не угодно ль стать
Во фрунт поэту записному
Да не угодно ль помечтать
Или начальнику иному
Рапорт стишками написать.
Хоть будь вполне литературно,
Да не по форме, скажут: дурно!..
Начальник распечат — и прав:
Что сочинять, где есть устав,
Где шаг, малейшее движенье —
Всё так обдуманно давно
И с вас потребуют одно
Слепое лишь повиновенье
И распекут за сочиненье.
Иль пусть какой-нибудь поэт,

Какого лучше в свете нет,
Слетает к бесу на расправу,
То есть на сутки на заставу.
Займись там выпрренной мечтой,
Да подорожной хоть одной
Не просмотри, пренебреги,
Да на звонок не побеги, —
Такого зададут трезвону,
Забудешь всех – и Аполлона,
И девять муз, и весь Парнас.
Нет, некогда мечтать у нас.
Солдат весь век как под обухом:
Тревоги жди пугливым ухом,
Поэты ж любят все покой,
А у солдат покой плохой!
Для стихотворного народа
Всегда торжественна природа,
Ему мила и непогода.
Он все поет: и дождь, и гром,
И ветра в осень завыванье;
Сам льет в стакан спокойно ром,
Сидя в тепле. Нет, в нашей шкуре
Попробуй гимны петь натуре:
Воспой-ка ручейки тогда,
Как в сапогах бурчит вода,
Воспой под дождь в одном мундире
Когда при строгом командире
Денщик твой, прогнанный в обоз,
Твою шинель упрятал в воз;

Иль в сюртуке в одном в мороз
Простой, начальство ожидая,
Тогда как пальцы, замирая,
Не в силах сабли уж держать,
Изволь-ка в руки лиру взять
Да грянь торжественную оду
На полунощную природу.
Нет, милый, рта не разведешь
И волчью песню запоешь.
Поэтам даже свод небесный
Какой покос дает чудесный!
А нам красавица луна
Напомнит только ночь без сна
На аванпостах. Ясный Феб,
Луна и Феб – поэтам хлеб,
А нам от Феба пыль да жарко,
Нам Феб – злодей, коль светит ярко
Он нам не недруг лишь, когда
Вблизи холодная вода.
И эти звезды, что высоко,
Что в поэтическое око
Так бриллиантами блещут,
Нам дальностью своей твердят,
Что и до звезд земных далеко
(С прибавкой славы и любви).
Вот всё, что в пышущей крови
Вздывает сильное брожение,
Что кипятит воображение.
А нам?... Наш брат ослеп, оглох,

Нам это всё – к стене горох.
Блаженство наше: чарка в холод,
Да ковш воды в жару, да в голод
Горячих миска щей, да сон,
Да преферанс... – и Аполлон,
И с музами, спроважен вон.
И даже самая любовь,
Хотя подчас волнует кровь,
Да только кровь. А сердце – дудки!
Нас не поддеть на незабудки,
На нежности; наш идеал:
Нам подавай-ка капитал,
Затем что ведь и в нас, мы знаем,
Не лично мы всегда прельщаем,
Прельщает чаще наш мундир,
Российских барышень кумир.
Смешно же бескорыстных строить:
Одно должно другого стоять
(О совести ни слова тут).
Но если ж мишуру берут
Взамен святой Любви личной,
Так уж умнее взять наличный
За это капитал. У нас
Примеров всяких есть запас.
Есть, точно, по любви женаты,
Да что они? Бывали хваты,
Теперь – кислятина: ухваты,
Горшки, пеленки на уме,
Век с плачем о пустой суме,

С роптаньем, – и сказать ужасно:
На добродетель ропщут гласно!
Они, завидуя ворам,
Скорее к выгодным местам
Бегут казной отогреться,
Казной за голод отъедаться.
Меж тем иной, как холост был,
Глядишь, честнейшим малым слыл.
Выходит, что жена и дети —
Лишь только дьявольские сети
Без золота. Так вот любовь!
Ей тоже денег подготовь,
Не то готовь и скорбь и слезы.
Где ж тут поэзия? где ж розы?
Те розы вечные, о коих так твердят?
Любовь без денег – просто яд.
И яд тем более опасный,
Что он на вкус такой прекрасный:
Лизнешь – не хочется отстать.
Коварна брачная кровать!
А полюбить да не жениться,
Так, право, лучше утопиться!
Да и топились не раз.
Ведь есть же Лизин пруд у нас.²

² Есть в Москве пруд, прозванный «Лизин», потому что в нем, с отчаяния в любви, утопилась Лиза – и есть надпись: «Здесь утопилась Лиза, Эрастова невеста. Топитесь, девушки, для всех довольно места». (Примеч. автора.) Лизин пруд – пруд возле Симонова монастыря, который в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» описан как место гибели героини повести. В конце XVIII – начале

Когда же с жизнью жаль расстаться,
Душой и телом век больной,
Ты будешь по свету таскаться,
Всегда рассеянный, шальной
И, стало быть, всегда смешной.
Ну вот влюбленных перспектива.
Нет, эта цель не так красива,
Чтобы любовь боготворить.
Нам с нею каши не сварить!
Теперь мы примемся за славу,
Необходимую приправу
Поэзии. Но славе пир
Дает война, а тут был мир.
С трубою, с крыльями кумир
Не принимает приношенья
От тех, кто знает лишь ученья,
Парады, лагерь, караул, —
Кровавый любит он разгул.
Поэзию он в уши трубит
Лишь тем, кто больше губит, рубит,
Кто кровь людскую льет рекой.
Я ж десять лет моей рукой
Махал на вольном только шаге, —
Другой ей не было отваги,
И мой смиренный кроткий меч
Не знал кровавых грозных сеч;

XIX в. пруд был местом паломничества поклонников таланта Карамзина, на окружавших пруд деревьях они вырезали различные надписи, одну из которых приводит Федотов.

Тупой родясь, умрет не точен;
В крови пред славой непорочен,
Служить он мог лишь как косарь,
Щепя лучину под алтарь.
А груды тел и крови реки
Принести ей в дар – не в том, знать, веке,
Ошибкой родился мой меч.
Итак, об славе кончим речь.
Ну вот и всё, чем стих поэта
Питался от начала света.
Еще пересчитаем вновь:
Природа, слава и любовь!
Иное, точно, кровь мутило,
Да не до рифм тогда нам было,
Мутило с желчью пополам,
Иное ж вовсе чуждо нам.
На чем же тут душе развиться,
Воображенью порезвиться?
Пускай рассудит целый свет:
Поэзии тут пищи нет!
Где ж было мне практиковаться
И чистоты в стихах набраться
Такой, чтоб критик злой иной
Не отыскал стишок больной?!
Не придирайтесь, бога ради,
Пока стихи еще в тетради,
Пока не жались под станок.
Я сам к печатным очень строг,
В печать не лезу – знак смирения,

А это стоит снисхожденья.

Начало 1850 г.

Поправка обстоятельств, или Женитьба майора

(Предисловие к картине)

Вот майором десять лет,
А надежды нет как нет
В подполковники подняться:
Всё смотры мне не клеятся,
Всё робею на смотрах.
Слово «смотр» наводит страх.
Право, хуже всякой бабы!..
Нервы, что ли, стали слабы?
Чуть начальник впереди
Покажись, стеснит в груди
И, как иглами уколот,
Весь вздрогнешь, по телу холод
И мурашки пробегут,
Зубы дробь во рту забьют,
Как в карете стекла; волос
Станет дыбом, рвется голос,
Звон глухой гудит в ушах,
Звезды бегают в глазах,
Поле будто всё кружится —

И изволь тут отличиться!..
Пить для храбрости?... И пил,
Да лишь вдвое наглупил.
Позапрошлый год стояли
Мы в каре³ и всё стреляли.
Вдруг командуют: «Вперед!»
С фланга мне пришел черед.
Уж недаром ненавижу
Я каре; засуетясь,
Тут забыл назначить фас,⁴
Гаркнул: «Марш!» И что же вижу?
Фасы – кто куда лицом,
Как стояли врозь крестом,
Дуют-дуют по долине...
Я ж торчу один шестом,
Одуревши, в середине.
Музыканты тоже врозь,
Кто куда... Беда, хоть брось!
Не забуду и поныне,
Как тогда со всех сторон,
Как на падаль тьма ворон,
На меня поналетели
Командиры, – ели, ели!
Как душа осталась в теле!
А начальники у нас,
Как расходятся подчас,
Матер (шиной) так и хлещут,

³ *Каре* – военное построение в форме четырехугольника.

⁴ *Фас* – военное построение в одну линию.

И иные этим блещут.
Прошлый год, судьбе назло,
Мне как будто повезло:
На смотру и в построеньях
Лучше шло, чем на ученьях.
Я ошибся только раз,
Да и то дым пушек спас.
Ну, я думал: в добрый час!
Чтоб не сглазить, перед старшим
Церемониальным маршем
Нам пройти уж нипочем!
Не замеченный ни в чем,
Верно, буду я представлен!
План уж был в уме составлен,
Как полковника схвачу,
Как и выше поскачу.
И в мечтах лечу, лечу...
Вижу: армия большая,
Все колоннами идут
И, знамена преклоняя,
Все мне почести воздают;
Барабаны громко бьют,
Громко музыка играет,
И народ кругом зевает,
Дамы так ко мне... а я
Так марширую свободно...
Но постой, мечта моя!
Наяву идут повзводно,
Вот идут, идут, идут,

Ровным шагом землю бьют,
Поле чистое трясется,
Эхо близких рощ и гор
Вторит музык стройный хор,
Сквозь аккорды крик несется:
«Рад стараться, ваше...ство!»
И на лицах торжество.
Взвод щетинистой грядой
Взвод сменяет чередой;
Всё вперед, вперед, вперед...
Вот подходит мой черед.
Рад – и страшно, сердце бьется:
Что как вдруг с ноги собьется
Батальон мой?... Никогда!
Нет, взошла моя звезда!..
Но... и вдруг мечта остыла,
Точно громом поразило,
Точно с неба слышу: «Стой!..»
Барабанов смолкнул бой,
Стихло все, остановилось,
Разом в землю пригвоздилось,
Замерло – лишь там и сям
Потихоньку по рядам
Офицеры пробегают
И ряды свои ровняют;
Вот и те уж по местам,
Все чего-то ожидают,
Все боятся; но зачем?
Для чего бояться всем?

Есть за всех один несчастный —
Это я!.. О рок ужасный!
Так и есть: в мой пятый взвод
Прямо корпусный идет.
Вот всевидящее око!
Он подметил издалека
У каналы у одной
В пятом взводе под сумой
С табаком кисет проклятый.
Погубил меня взвод пятый!
Ждал схватить иль чин, иль крест,
А попался под арест!
Хуже всех годов мне это
Было нынешнее лето.
Только третий боевой
Как пойдет — хоть волком вой!
Знал претвердо на ученье,
Тут не то — нашло затмение!
А жолнера⁵ поутру
Как просил я на смотру
Подсказать мне, но лукавый
Всё об Леленьке кудрявой
Об своей, видно, мечтал,
В голове всё, видно, бал...
Молодежь!.. А мне от бала
От его уж так попало,
Хоть в отставку подавай!

⁵ Жолнер – офицер или солдат, поставленный во время смотра для указания линии, по которой выстраивается часть.

Эх, отставка – вот так рай!..
Никаких смотров не знай!
Сам себя лишь только знаешь,
Сам себе лишь отвечаешь.
Вот другим везет... а я?
Знать, такая колея!..
Больше ль знает Пятогреев?
Иль умней меня Михеев?
Ха-ха-ха! Или Рубцов?
Уж глупейший из глупцов!
А Зубанов с красной рожей,
На говядину похожей,
А Биршнапс, а Муано?
Все полковники давно,
Все с полками набивают,
Чай, карман да поживают,
Как царьки; один лишь я...
Просто дрянь судьба моя!
Всюду запятые, точки.
Знать, родился не в сорочке.
Нет, довольно! Решено —
Выйду! Уж пора давно
На покой, чего тут ждать?
Ведь мне каждый смотр обидно
Перед фронтом срам глотать.
А устав мудрен! Мне, видно,
Нечего здесь больше ждать,
Генералом не бывать!..
Да и это не завидно!

Ну, положим, генерал...
Экой важный капитал!
Что от этого прибудет?
Ведь начальство, всё же будет,
Так же будет распекать,
Да тогда еще стыднее.
А ведь с чином не умнее
Станешь – так же будешь врать!..
Содержанья и прибудет,
Так расходов втрое будет:
Надо уж себя держать
На вельможескую статью;
И шитье, да и нельзя же
Обойтись без экипажа...
Голь, как нынче, будет та же.
Вышел бы, да вот беда:
Чем кормиться-то тогда?
Пансион?⁶... Велико дело!
А уж крепко надоело!..
Разве к статским перейти?
От смотров хоть бы уйти,
Но и там беда повсюду:
В статской я надворным⁷ буду,
А надворный там велик,
Там надворный, без сомненья,
Уж начальник отделенья —

⁶ *Пансион* – здесь: пенсия.

⁷ По табели о рангах майор при переходе в штатскую службу получал чин надворного советника.

Я ж к бумагам не привык.
Что ж я буду за начальник?
Мне любой столоначальник
Завернет везде кавык:
Там, где взять, – себе оставит,
А бумажку ту представит
Мне, с которой лишь беда,
И распутывай тогда!
А как дел-то сам не знаешь
Да в законах не смекаешь —
Не подскажет важный чин,
И, не справившись один,
Поневоле всякой мошке
Поклонись чернильной в ножки,
А не то тебя под суд
Эти мошки упекут.
В статской важны чин и званье,
Но важней законов знанье.
Впрочем, есть и там места,
На которых и спроста,
Без особенной науки,
Можно греть порядком руки.
Не об жалованьи речь,
Совесть можно сбросить с плеч!
Не такие нынче годы!
Говорится про доходы.
Например, комиссарьят,⁸
Или провиантский штат,

⁸ *Комиссарьят* – Комиссариат – учреждение, ведавшее снабжением армии.

Иль полиция, таможня...
Вот уж, говорят, там можно!
Только с прочими делись,
А иначе берегись!..
Прах возьми! Да я б делился,
Да и сам бы понажился!
Этак бы сначала дом
В пять этажей, да притом
Чтоб и в нем всего битком.
После сбил бы помаленьку
В хлебном месте деревеньку.
А хозяйством править лень —
Клал в ломбард на черный день
Чистоган... Когда б понажил,
Я б раскланялся и зажил,
Как второй Сарданапал,⁹
И тогда задай-ка бал...
Глядь, в числе гостей попал,
С уверениями в дружбе,
Тот, кто прежде так на службе
Просто со свету сживал.
Принимая всех радушно,
Я б простил великодушно
Прошлого врагам моим,
Я бы даже на смех им
Задавал обеды часто.
«Ваше пр-во» тогда б уж баста!

⁹ *Сарданапал* – Ассурбанипал (669 – ок. 633 до н. э.) – царь Ассирии; здесь имеется в виду его богатство и пристрастие к роскоши.

Клим Матвейч, Петр Лукич, —
Поименно просто кличь.
Вот к такому бы местечку
Приютиться человечку
Славно б!.. Кто ж добру не рад!
Только вот что говорят:
Что туда без денег вряд
Попадешь... подсунуть надо,
Да ведь как!.. Исчадья ада
Ведь нельзя сказать *берут* —
Чисто-начисто дерут,
Начиная с самой справки.
Ты придешь: как точно в лавке,
Там на всё уж такса есть,
И не стоит мало несть.
Единичными рублями
Там с простыми писарями
Не поладишь, им на чай
Тож полсотенку подай, —
Вот тогда язык развяжут
И вакансию укажут,
Да научат и уму,
То есть сколько и кому
Да и в руки ль самому.
Может, где важней супруга
Иль секретная подруга,
Что и к ним с поклоном снести,
Где и к ним лазейка есть.
Ведь с бумагами ему, чай,

Не ровён бывает случай,
Часто в ночь... так дай ему.
Умный писарь – член в дому.
Он и там смекнет делишком,
Где, хоть это редко слишком,
Что начальник – правовед
Иль студент задорных лет —
Щекотлив вдруг до дохода;
Ведь в семье не без урода, —
Их глупцами и зовут.
Ну, так писарь верно тут,
Как всегда, на шаг от плюхи,
Знает хоть, когда он в духе.
Что ж, и это верный ключ;
Гром гремит не все из туч,
Часто из... Так писаря,
Откровенно говоря,
Даром, что ли, прижимают?
Нет, себе, чай, цену знают!
С виду мошки; а министр,
Как ни будь умом он быстр
И глубок, а донесенье
Иль секретное решение
Пишет сам ли?... Писаря:
Четко нужно для царя.
А министру до того ли?...
У великих всех людей
Быстро бьет фонтан идей,
В спехе брызжет поневоле,

Да наставит лишь крючков:
Почерк гениев таков.
А иной бы рад стараться,
Да спасует... а, признаться,
Поглядишь: барчата все
Бойко мелют по-франсе.
А взгляни в чистописанье —
Тотчас встретишь оправданье:
«Кантонистов,¹⁰ что ли, нет?
Это низко нашим чадам!»
Русский ум наш крепок задом.
А вот тут... с писцом секрет
Государственный и важный
Раздели... Хоть не продажный
Этот писарь, может быть,
Да мадерцы как не пить?...
Часто нехотя напьется,
А напьется — и проврется,
И, что читается за секрет,
Глядь, обходит весь уж свет.
И шути тут с писарями!..
Еще милостивы с нами!
Много ль есть учителей,
Чтобы смысл науки всей,
Смысл в ученье столь глубоком,
Как достать местечко с соком,
Передал одним уроком

¹⁰ *Кантонисты* — выпускники школ кантонистов — солдатских детей, в которых готовили, в частности, писарей для армии.

И полсотни только б взял?...
Бескорыстья идеал!
Право, сотню дам охотно.
Так, купив себе маршрут
И карман набивши плотно,
Отправляйся выше... тут,
Тут уж тысячи берут.
Выше – уж десятки тысяч!
Ух бы их на конной¹¹ высечь!
Поневоле после всяк,
Заплатив за место так,
Всё вернуть скорей захочет
И, как жадный волк, наскочит
Вымещать все над казной.
И бессовестно иной
Вслух кричит: «Казна богата!
Грех обидеть ближних, брата,
У казны ж не грех украсть,
Есть кому ее накласть;
Коль казны и неостанет,
Так министр кой-как натянет:
Министерский ум глубок,
Он из камня выжмет сок —
И казна опять богата!»
Так, забывши всё, что свято,
Рассуждается у нас.
Только если в добрый час

¹¹ Имеется в виду городская площадь, на которой во время ярмарок торговали лошадьми, там же совершались публичные наказания.

Совесьть как-нибудь разбудишь, —
Вовсе иначе рассудишь.
Тут увидишь, что казна
Не для кражи собрана.
Сборы все и приношенья
На благие учрежденья
С нас правительство берет.
Стало, кто казну дерет,
Тот у ближних благо крадет.
Пусть, кто хочет, душу гадит,
Мне ж таких не надо мест —
Совесьть грозная заест.
Всё терпением залечим,
Да притом подсунуть нечем:
Шарф на выжигу, темляк,¹²
Ну хоть два, хоть три, да знак¹³ —
Вот и всё... Нет, с этим дудки!
С этим близ трактира будки
Не получишь. Вот мечтай,
Замки строй и рассуждай:
Ноль на ноль сто раз помножа,
Всё в итоге будет то же.
Всюду деньги! Даже в рай
Хочешь — денежки подай,
Хоть умри без покаянья.
Но когда есть состоянье,

¹² *Темляк* — лента на рукоятку сабли или другого холодного оружия; *шарф* и темляк в русской армии XIX в. могли быть наградными.

¹³ *Знак* — здесь: орден.

Лишь пожертвуй в церковь вклад,
Да побольше – что тут ад!
Нипочем! Весь век молиться
Будет пастырь за тебя.
А без денег за себя
Сам молись. Беда, коль грянет
Невзначай последний час
И застанет средь проказ!
Бедный! Кто тогда предстанет
Пред судьей на небесах
Выручать тебя в грехах?
Кто врата отворит рая?
Чья молитва? Отпевая,
Пастырь, сам как бы стыдясь
Бога за тебя, свой глас
Не возвысит в песни сладкой,
А, как будто бы украдкой,
Он сквозь зубы над тобой
«Со святыми упокой»
Проворчит в скороговорку
И в червивую каморку
Не проводит бедняка:
Вишь, от церкви далека.
С стройной, громкою мольбою
Над богатым к небесам
Из кадила фимиам
Вьется пышною, густою
Ароматною волной.
Бедным фимиам иной.

Им, посмотришь, и кадило
Только-только бы чадило.
Деньги, деньги – счастья ключ!
Но постой! Надежды луч
Не совсем угас покуда,
Не совсем еще мне худо —
Дай-ка я за ум возьмусь:
Почему я не женюсь?
Да, женюсь, и на богатой,
Дам щелчка судьбе рогатой.
Как богатой мне не взять!
Иль невест богатых мало?
Иль во мне что недостало?
Чем не муж я? Чем не зять?
Штаб,¹⁴ густые эполеты,
Шпоры, конь, усы и лета!
Что ж, в поре я, просто хват,
Хоть немножко толстоват...
Это возбудит почтенье;
Хуже ж, если б был худой.
Скажут: верно, он больной
Иль худого поведения.
Всё, что надобно жене
Ждать от мужа, есть во мне:
Чин высокоблагородный,
И притом собой дородный.

¹⁴ *Штаб* – штаб-офицерами назывались офицеры в чине от капитана до полковника, которые в отличие от младших офицеров имели погоны с бахромой – эполеты.

Что ж еще? Уж для купчих —
Это сущий клад для них.
Кстати ж, слышал, у Кулькова,
У подрядчика лесного,
У купца-бородача,
Старовера, богача,
Хлебосола записного,
Уж назначен миллион
Дочери. Когда бы он
Отдал мне ее... Не худо!
Аппетитненькое блюдо!
Право, нечего зевать,
Надо сваху засылать,
А потом принарядиться
Поновей, понадушиться,
Можно и духов достать
И помады хоть у франтов,
У бригадных адъютантов,
Взять у них же орденки,
Да батистовый платок,
Да часы на случай, с дочкой
Коль придется говорить,
Пальцем баловать с цепочкой
И носочком такту бить;
Шарф надеть, позвонче шпоры,
Да, поднявши плечи, грудь,
Эполетами потряхнуть,
Да погромче в разговоры...
Посмотрю я, как тогда

Мне откажет борода!
С бородой, в сибирках, тести —
Деньги есть, так ищут чести.
Раз при мне один купец,
Мужа дочери смекая,
Как заботливый отец,
Все сословия сличая,
Вот что вывел наконец:
«Выдать за купца не худо,
Да не худо, как покуда
Хорошо дела идут;
Но беда подчас и тут.
Сколько б в руки ни попало
Денег, — кажется всё мало:
Хочется учетверить —
В оборот рискнет пустить,
Да с казной в подряды вступит,
Думая, что вот-то слупит!
Ан, глядишь, в капкан попал,
Поминай свой капитал!
До ковша в дому опишут
Да в мещане перепишут.
А мещанин — что холоп:
Чуть набор — забреют лоб.
Зять — солдат, и дочь — солдатка, —
Нет, для батюшки несладко.
Я умри, умри жена —
Дочь пропадая. Она —
Иль на месте оставайся

Век замужнею вдовой,
Иль цыганкой век шатайся.

.....

.....

..... Вот подчас

Что случается у нас,
У купцов, от оборотов!
Долго ль дело до банкротов!
А коль чуть остерегись,
С капиталцем поприжмись,
Так беда от патриотов —
Только и звенит в ушах,
Что торговля-де в руках
Наша вся у иноземцев,
Англичан, французов, немцев,
А что наши-де купцы
Просто неучи, глупцы.
Вот как хочешь и вертись.
Впрочем, если попадися
Зять почетный гражданин,¹⁵ —
А, тут не кафтан один
Шитый, тут уж есть и льготы;
Впрочем, всё же обороты!..
То ли дело дворянин!
По уму хоть бы не годен
И душой неблагороден —

¹⁵ *Почетный гражданин* – почетное звание, даваемое богатым купцам за какие-либо заслуги перед государством; имеющие это звание получали ряд привилегий: освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний.

Всё ж себе он господин,
Хочет – спит, а хочет – служит
И об детушках не тужит:
Хочет – воспитает сам,
Нет – раздаст по корпусам;
И того нет – всё ж барчаты —
Не посмеют взять в солдаты.
Но коль выше забирать,
О, так надобно, чтоб зять
Неприменно был военный, —
Это самый сан почтенный!..
Ни фальшивых нет весов,
Нет ни взяток, ни крючков,
Что в других так ненавистно:
Тут всё чисто, бескорыстно».
Оттого-то, как магнит,
Так мундир к себе манит.
Всех, кто с чистою душою
И невинной простотою.
Дети... дай им барабан,
Дай гусарский доломан,
Саблю, знамя... А в предмете
У девиц в семнадцать лет,
Хоть в глуши живут, хоть в свете,
Всюду, вечно эполеты,
Шпоры, усики, колеты.
Да и все, – явись в мундире,
Все дают дорогу шире.
Да еще бы!.. Кто же нас

И спасает в грозный час?
Шутка, право, нелегка ведь
Лоб и грудь свою подставить,
Чтоб другой лишь был прикрыт,
И за всё лишь полусыт.
Поневоле уважение
К ним питаешь и почтение!
Только немцы на Руси,
Боже нас от них спаси,
То есть те, что здесь торгуют,
Про мундир всегда толкуют,
Что не стоит он гроша.
А в нем нет, знать, барыша!
Говорят вишь: «Гольден трессен,
Абер только нихтс цу фрессен!...»¹⁶
С жиру бесятся они,
А на совесть загляни —
Что всё держит? Штык российский.
Что же, прусский, иль австрийский,
Иль (еще) иной какой
В мире водворит покой,
Чтоб спокойно проживали
Да спокойно торговали?...
А, да что и говорить,
С ними бисер лишь сорить!
Бросив родину святую
И навек в страну чужую

¹⁶ *Гольден трессен, абер только нихтс цу фрессен!* (нем.) – Золотые галуны, но только нечего жрать!

За одним лишь барышом
Кто бежит – что толку в нем?
Уж плохие эти братья,
Их иудины объятья!
Деньги бары к ним везут,
Деньги сами здесь сосут
И живут, как бары, пышно.
В благодарность только, слышно,
Все мерещится им кнут, —
А народ зовут рабами
И бесчестными плутами!
Честен немец в мелочах,
Только царство их в бедах
Век Россия выручала.
Что ж, своих сынов, что ль, мало
У отчеств славных их?
Нет, не мало, коль от них
Нам, и дома мы, а тесно;
Отчего ж им неизвестна
Плутовская наша честь
Рабская – всё в жертву несть,
Чтоб спасти страну родную?
С честью их забравши сбрую,
Деньги, трубку и кисет,
Всякий там бежит от бед,
Чтобы как в тревоге шумной
Свой титул благоразумный,
Разорись, не запятнать,
Чтоб у нас им щеголять.

Чести он у них замена;
Нипочем для них измена,
Так от них нельзя и ждать,
Чтобы должное воздать
Бескорыстной чести ратных —
Это чуждо душ развратных.
Но корысть что хочешь ври,
А посмотришь, все цари
И у нас, и в целом мире
Отчего всегда в мундире?
Знать, в мундире что-то есть,
Что ему такая честь!
Слухи ж ходят об невесте
Таковы, что ей не к чести,
Да она, быть может, тут
Как ни в чем... Ведь это плут
Распустил всё Курозвонов,
Подпоручик. По его,
Я ведь тоже из бурбонов.¹⁷
У него ведь ничего
Нет святого — хвастунишка,
Пустомелишка, мотыжка;¹⁸
Хуже нет в полку у нас,
А посмотришь, как подчас
Нос подымет, глазки сузит,

¹⁷ *Бурбон* — презрительное прозвище невежественного и ограниченного кадрового военного; первоначально так называли офицеров, выслужившихся из солдат.

¹⁸ *Мотыжка* — мот.

Зафидонит,¹⁹ зафранцузит
И с презрением на свет
В свой расколотый лорнет
По верхам глядит!.. О, я бы
Вышколил его, когда бы он
В мой попался батальон:
Надежурился бы он!..
Соком бы бурбон достался,
Не к чему бы придирался,
Младшего легко прижать
И всегда остаться праву,
В каждом что-нибудь сыскать
Можно, что не по уставу;
Ну хоть пуговица будь
Набок нумером чуть-чуть —
И довольно. Сбил бы с тона,
Я бы дал ему бурбона,
Дурь бы в нем поунялась.
Вот что сбредил: будто раз
Сваха вдруг к нему явилась,
Уверяя, что в него
До безумия влюбилась
Дочь Кулькова, и его —
Было свахе порученье —
Звать к обедне в воскресенье,
И обещан миллион.
Будто б и поехал он,

¹⁹ *Зафидонит* – от французского «fi donc» – междометия, выражающего пренебрежение, презрение.

Да взглянул: ряба, в веснушках,
Да в таких как будто в мушках,
Носа, глаз не разберешь,
И как двадцать пять одеж.
Двадцать пять, и все на вате,
Вот какая в перехвате...
Руки! Плечи! Но, скрепясь,
Будто он на этот раз
Подмигнул ей для потехи.
Сваха видит: есть успехи,
И с зарей к нему опять,
Тащит в дом уж представлять.
Будто был он у Кульковых
И что тьму достоинств новых
Там он в дочке их открыл,
То есть, что бы ни спросил, —
И аза в глаза не знает,
Книгу в руки забирает
Вверх ногами, как подашь,
И по всякой «Отче наш»,
«Богородицу» читает
По складам, не жди конца,
Кличет «тятенькой» отца,
Словом, словом – просто дура,
На невест карикатура...
Будто он – поклон и вон,
Несмотря на миллион.
Видишь, партией такою
Он рассорился б с роднёю,

Что родные – все князья,
Говорит: «И сам-то я
Был пажом и по талантам
И ученью первым был;
Верно б, в гвардии служил,
Был бы флигель-адъютантом,
Если б ротный командир
Не придрался. И мундир
Был уж сшит Преображенский...²⁰
Мужичина деревенский!..
Сам курил, а нам курить
Вздумал строго запретить.
Ну, конечно, нагрубили —
Мы почти уж сами были
Офицеры!» – И затем
Им надели лямки всем.
И в полку нам без того бы
Не видать его особы.
И давно б он вышел вон,
Да в полку хороший тон
Без него пиши пропало!
Нас ему, вишь, жалко стало,
Да полковницу притом,
Что она всегда по нем,
Чуть его в гостиной нет...
С муженьком постыл ей свет,
А иначе почему ж
Так к нему придиричив муж?

²⁰ *Преображенский* – т. е. гвардейского Преображенского полка.

Службу он ведь твердо знает,
И полковник распекает
За жену – не за устав,
А что он всегда был прав,
Несмотря что раз в неделю,
Верно, он свою постелю
На гауптвахту посылал.
Словом, столько он болтал,
Лгал по поводу Кульковых,
Столько фраз про них суровых
В полк изволил распустить,
И затем всё, чтоб отбить
И других, кому жениться
Вдруг охота разгорится,
Чтоб, попав в Кулькова дом,
Не развели о нем
И, конечно б, осмеяли,
Как узнали б о скандале,
С каковым его Кулков
Сам прогнал. А от долгов
Как мундир уж был в закладе,
Как пришлось уж Христа ради
Занимать у денщиков,
Как за всё уж он хватался
И к Кулковым подбирался,
Отчего ж и бредил он,
Что какой-то миллион
Скоро где-то он достанет,
Всех купать в шампанском станет.

Бредил месяц или два,
Знать, надеялся сперва,
И тогда про дом Кулькова
Никому в полку ни слова,
А напротив, иногда
Говорил, что не беда
Человеку борода:
И за что ж ее поносят?
Ведь ее французы ж носят,
И что в царстве, наконец,
Дело первое – купец.
Будь век мир – солдат не нужен,
Честен люд – судья досужен,
Некого судье судить,
Некого солдату бить,
А покушать всяк попросит
И одежду тоже носит.
Где же взять всё?... У купца.
Видно, видно шельмеца!
Так Кулькова пусть красую
И не славится большою,
Да в красе и толку нет!
Будь теперь хоть маков цвет,
Будь она хоть розан, всё же
Будет, верно, в сорок лет
На ровесниц всех похожа.
Кто тогда их разбирать
Станет голову ломать,
Кто тогда была какая,

Иль кривая, иль косая, —
Все равны, а той лишь честь,
У которой деньги есть,
У какой попить, поесть
Можно вкусно, той и честь.
Где обед хорош и вины,
Где на славу в именины
Пир на праздники дают —
Все туда с поклоном льнут,
Все покушать даром падки,
Да к тому ж, коль блюда сладки,
Так посмотришь, не один
Там хлебает господин,
Позабыв породу, чин.
Выгодным найдя смирение,
Там забыл про вдохновение,
Примираясь с толпой, поэт...
И кого, кого там нет!
Штука важная обед!
И спроси из нас любого,
Хоть профессора иного,
Про хозяйку: что, умна ль?
Что, любезна ль? что, ловка ль?
Да подобной нет — все скажут:
Сласти всем язык подмажут.
И про нас заговорят,
Что такие есть ли вред.

Майор зовет денищика.

Сидор, Сидор! Спишь? Живее,
Поликарповну скорее!
Ну, что свахою слывет.
Знаешь, где она живет?
Отыщи ее где хочешь,
Ты не даром похлопочешь;
Да смотри, не будь глупцом:
Баба станет обо всем,
Об житье-бытье моем
У тебя осведомляться,
Так прошу ей не поддаться...
Первое, что спросит, — чин,
Отвечай, что господин
Твой майор еще покуда,
Но чрез год он, худо-худо,
Будет полный генерал.
Побожись, что не соврал:
Бабе только побожиться
Да с божбой перекреститься —
Всё за чистое сойдет.
Об достатке речь зайдет,
Не проврись про кухню нашу,
Что едим век щи да кашу,
А скажи: на днях умрет
Барский дядя пребогатый,
Что огромные палаты,
Что заводов, деревень,
Что чего не счесть и в день,

Всё, чем заживо он правит,
То, мол, всё ему оставит,
Что наследник, мол, один
У него мой господин.
Что, мол, добр; солдат как учит, —
Он не бьет их и не мучит,
Что и сам, мол, я пока
В жизнь не слышал «дурака».
Хоть под левым глазом сине
У тебя, да сам, разиня,
Напросился на кулак —
Ты сапог мне подал как?
Ну, уж с этим разом баста,
Помирися. Только глаз-то
Чем-нибудь затри, закрась,
В лазарет зайди. На мазь
В счет поставь пятиалтынник.
Да и весь ты, точно блинник,
Весь засален, весь в дырах, —
Это в счет идет у свах.
Где б достать всё поновее?
У кого-то есть ливрея?
У женатых попроси, —
Вот записку отнеси.
Кстати, помни, подстригися, —
Вишь, как пудель!.. И явился
К свахе, будто на парад.
Еще тут важнее, брат,
Надо лгать, а так ведется,

Что смелее франтам врется
И скорее верят... Да,
Сколько хочешь, лги тогда!..
Что, мол, просто барин славный,
А уж к службе – ох, исправный!..
Чуть про службу спор и толк,
Сам полковник, целый полк,
Смотришь, прут к нам за советом.
Барин, мол, там первый в этом,
И, мол, диво ли, когда
В рот хмельного никогда.
Даже трубки он не курит,
Карт и в руки не берет,
А гостей коль соберет,
С ними только балагурит,
Да и то коли когда
Чуть об девушках нескромно
Молодежь заври – беда!..
Для него и то скромно.
В обхожденьи ласков, прост,
Аккуратно держит пост,
Не бывал ни раза болен,
Как бывают иногда
Все другие господа.
Бедных любит, богомолен
И что им и царь доволен!
И что, кажется, его,
Господина моего,
Он к себе в министры прочит —

Это целый полк пророчит!..
И лукавая одна
Пребогатая княжна
К нам уж сваху засылает:
Вишь, ужасно влюблена
В барина. Да пусть страдает!..
Барин свистни, так княжон
Налетит со всех сторон —
Выбирай себе любую.
Да не хочет. Нет, уж он
Выбрал сердцу дорогую.
С год, мол, день и ночь ему
Всё вертится на уму
Дочь какого-то Кулькова
(Может быть, и нет такого).
А меж тем: Кульков! Кульков!
Затверди ты это слово.
Тут ведь нет немецких слов,
Трудных так для денщиков,
Помни про кулек!.. не сбейся,
Будешь говорить – не смейся!..
Побожись, что по ночам
Бред мой часто слышишь сам,
Вдруг, мол, вскрикнет: «О Кулькова!
О мой ангел! друг!» – и снова
Прихрапнет, потом опять,
Да ведь за ночь-то раз пять,
Как в горячке!.. Утром встанет,
Так, глядишь, на нем лица нет!

Просто страх меня берет.
Так и жди – с ума сойдет.
Ну, потеря!.. Спать, пожалуй,
У кого умишка малый,
А ведь барин по уму
Не спустил бы никому!..
Да чего, преосвященный,
Раз приехавши к нему,
Говорит: «Хоть ты военный,
А уж друга не оставь,
Ты мне проповедь поправь!»
Он ведь с ним на «ты», почтенный,
Вот так просто, как друзья;
Значит – ум!.. А нынче я
За него весьма боюсь
И тебе уж поклонюсь
В ножки, добрая моя.
Ты судьбой людскою мечешь,
Холостую скуку лечишь
И безденежья недуг
Лечишь ты, – так будь нам друг,
Припаси ты нам лекарства,
Сбереги подпору царства!
Понял, Сидор? Ну, смотри,
Бабе ты очки вотри.
Ты, я знаю, как захочешь,
Так на шею черту вскочишь,
Ты, я знаю, брат, не глуп...
Например: откуда суп

С курицей у нас являлся?
Я тогда уж притворялся,
Молча ел. – Ведь денег я
Не давал... Казна моя
Станет лишь на щи да кашу.
Помнишь, как-то простоквашу,
Как-то жареный петух,
А в моих подушках пух?...
Что, нашел?... Нашел, ну, ладно!
Ты всегда соврешь прескладно.
Так пойдя ж, похлопочи,
Тут ведь есть магарычи.
Как женюсь, разбогатею,
И тебя, братец, пригрею
И наградою заслуг
Уж не старый архалук,
Как теперь, – тогда придется,
Как у важных бар ведется,
В галунах ливрею сшить,
В аксельбанты нарядить.
Голод нынешний забудешь.
У меня ты просто будешь
Целым домом заправлять,
Да другими понукать,
Да прикрикивать – и только!
Любо? – Хлопочи ж, изволь-ка!..

Рацея²¹

(Объяснение картины «Сватовство майора»)

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.

Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.

Вот извольте-ко посмотреть:
Вот купецкий дом, —
Всего вдоволь в нем,
Только толку нет ни в чем:
Одно пахнет деревней,

²¹ Рацея (*лат.*) – рассуждение, объяснение.

А другое харчевней.
Тут зато один толк,
Что всё взято не в долг,
Как у вас иногда,
Честные господа!

А вот извольте посмотреть:
Вот сам хозяин-купец,
Денег полон ларец;
Есть что пить и что есть...
Уж чего ж бы еще?
Да взманила, вишь, честь:
«Не хочу, вишь, зятка с бороною!
И своя борода —
Мне лихая беда.
На улице всякий толкает,

А чуть-чуть под хмельком,
Да пойди-ка пешком вечером,
Глядь! — очутишься в будке,
Прометешь потом улицу сутки.²²
А в густых-то будь зять —
Не посмеют нас взять...
Мне, по крайности, дай хоть майора,
Без того никому не отдам свою дочь!...»
А жених — тут как тут, и по чину — точь-в-точь.

²² Применявшееся полицией наказание к простолюдинам за проступки против общественного порядка.

А вот извольте посмотреть,
Как жениха ждут,
Кулебяку несут
И заморские вина первейших сортов
К столу подают.
А вот и самое панское,
Сиречь шампанское,
На подносе на стуле стоит.

А вот извольте посмотреть,
Как в параде весь дом:
Всё с иголочки в нем;
Только хозяйка купца
Не нашла, зная, по головке чепца.
По-старинному – в сизом платочке.
Остальной же наряд
У француженки взят

Лишь вечер для самой и для дочки.
Дочка в жизнь в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не страшась,
Плечи выставила напоказ. —
Шейка чиста,
Да без креста.

Вот извольте посмотреть,
Как в левом углу старуха,

Тугая на ухо,
Хозяйкина сватья, беззубый рот,
К сидельцу пристаёт:
Для чего, дескать, столько бутылок несёт.
В доме ей до всего!
Ей скажи: отчего,
Для чего, кто идёт, —
Любопытный народ!

А вот извольте посмотреть,
Как, справа, отставная деревенская пряха,
Панкратьевна-сваха,
Бессовестная привираха,
В парчовом шугае, толстая складом,
Пришла с докладом:
Жених, мол, изволил пожаловать.

И вот извольте посмотреть,
Как хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком,
Он знаком больше с армяком;
Как он бьётся, пыхтит,
Застегнуться спешит:
Нараспашку принять — неучтиво.

А извольте посмотреть,
Как наша невеста
Не найдет сдуру места:

«Мужчина чужой!
Ой, срам-то какой!
Никогда с ними я не бывала,
Коль и придут, бывало, —
Мать тотчас на ушко:
«Тебе, девушке, здесь не пристало!»
Век в светличке своей я высокой

Прожила, проспала одинокой;
Кружева лишь плела к полотенцам,
И все в доме меня чтут младенцем!
Гость замолвит, чай, речь...
Ай, ай, ай! — стыд какой!..
А тут нечем скрыть плеч:
Шарф сквозистый такой —
Всё насквозь, на виду!..
Нет, в светлицу уйду!»

И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка собирается улететь;
А умная мать
За платье ее хватить!

И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице, —
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:

«Я, дескать, до денежек доберусь!»

Теперь извольте посмотреть:
Разные висят по стенам картины.
Начнем с середины:
На середине висит
Высокопреосвященный митрополит;
Хозяин христианскую в нем добродетель чтит.
Налево – Угрешская обитель²³
И во облацех над нею – святитель...
Православные, извольте перекреститься,
А немцы,
Иноземцы,
На нашу святыню не глумиться;
Не то – русский народ
Силой рот вам зажмет.

И вот извольте посмотреть:
По сторонам митрополита – двое
Наши знаменитые герои:
Один – батюшка Кутузов,
Что первый открыл пятки у французов,
А Европа сначала
Их не замечала.
Другой
Герой —

²³ *Угрешская обитель* – монастырь под Москвой, основанный в 1381 г. Дмитрием Донским в память победы в Куликовской битве.

Кульнев,²⁴ которому в славу и честь
Даже у немцев крест железный есть.²⁵

И вот извольте посмотреть:
Там же, на правой стороне, —
Елавайский²⁶ на коне,
Казацкий хлопчик
Французов топчет.
А на правой стене хозяйский портрет
В золоченую раму вдет;
Хоть не его рожа,
Да книжка похожа:
Значит – грамотный!

И вот извольте посмотреть:
Внизу картины,
Около середины,
Сидит сибирская кошка.
У нее бы не худо немножко
Деревенским барышням поучиться

²⁴ *Кульнев Я. П.* (1763–1812) – генерал, участник и герой Отечественной войны 1812 года.

²⁵ Имеется в виду прусский орден «Кульмский крест» за сражение при Кульме (17–18 августа 1813 г.), в котором войска союзников одержали победу над наполеоновскими войсками. С именем Я. П. Кульнева учреждение этого ордена связывается ошибочно.

²⁶ *Елавайский* – Иловайский И. Д. – генерал-майор, командир казачьего отряда, первым вступившего в Москву 11 октября 1812 г., когда французы начали отступать из города.

Почаще мыться:
Кошка рыльце умывает,
Гостя в дом зазывает.

А что, господа, чай, устали глаза?
А вот, налево, – святые образа...
Извольте перекреститься
Да по домам расходиться.

Пчела и цветок

Летая по свету, конечно, за медком,
Пчела влетела в дом.
Увидевши в окне горшочки

И в тех горшках цветочки,
Ну как не залететь?
Где до любимого коснется,
Не только что пчелам – и нам, людям, неймется.
Любимое хоть в щелку поглядеть —
И то отрада, —
А тут пчеле цветы – чего ж ей больше надо?
К тому ж людской разборчивый и прихотливый род
Цветов к себе дурных в хоромы не берет,
А из отличных всё пород.
Коль и на взгляд иной не так приятен,
Так уж, наверно, ароматен.
И подлинно, пчела
В дому один цветок породистый нашла,
Да только, не в родню, он что-то рос так бедно
И цвел так бледно,
Что не на что взглянуть.
Пчела подумала: «Попробую нюхнуть!
Авось утешусь ароматом,
Авось медку найду хоть атом!»
Но что же?... И того

Не оказалось у него.
Пчела плечами только жала:
«Земля, что ль, под тобой, цветочек, отошала?»
Подумала и вниз сползла —
Земля хорошая была
И полита как надо.
Трудолюбивую пчелу взяла досада.
(Кто сам трудолюбив,
К бездействию других ужасно щекотлив;
Сейчас подумает, что, верно, тот ленив.)
И, приписав всё лени,
Пчела укоры, пени
На хилого цветка
Посыпала как из мешка:
«Урод, — жужжит она, — позор своей породы!
Ты знаешь, как ее повсюду чтут народы?
А ты свои дары природы
Куда девал?»
И жало
Уж местью задрожало.
«А я, — тогда цветок уныло отвечал, —
Блажен, когда б об этом и не знал.
Желаньем не томясь и к цели равнодушный,
Я, может, лучше б цвел и в этой сфере душевной!
Окно на север здесь, любезная, взгляни!
Насупротив — стена, и я всю жизнь в тени.
В тени!.. Меж тем с порой изящества начало
В душе про сладкое про что-то зашептало,
Но вместе с тем, увы, тогда ж казалось мне,

Что что-то здесь в моем окне
Тот сладкий шепот заглушало,
Но я тогда еще был мал,
Неясно это понимал И рос, как все. Когда ж с явлением
почек
Все закричали: «Вот цветочек!» —
Тогда широкая молва
Души неясные слова
Собой мне разъяснила.
Я понял, чем меня природа одарила,
Какой блестящий мне дала она удел.
За ним, достичь его желаньем полетел —
Душа лишь только средств искала, —
Но в них, увы, судьба мне жадно отказала!
Я жажду солнца, но оно
В мое не жалуется окно!
Желанья пылкие желаньями остались,
От безнадежности лучи их к центру сжались,
И спертый жар теперь как ад во мне палит
И весь состав мой пепелит!
Так не дивись, пчела, что я цвету так вяло,
И не брани меня, не разобрав, за лень.
Ничтожности моей начало —
Тень!...»

Талант, молись, чтоб счастья солнце
Взглянуло иногда в твое оконце.
Иначе, как цветы,
В тени замрешь и ты.

10 июля 1849

Усердная Хавронья

Не далее как в нынешнем году
В одном саду
Любимая из барыниных дочек,
Лет четырех, сама цветочек,
Хотела розанчик сорвать
Да, позабывши про колючки,
С разбега хватъ —
И ободрала ручки!
«Ай, ай!» – швырнувши прочь цветок,
Бедняжка зарыдала.
На звонкий голосок
Мамаша прибежала.
Увидевши в крови любимое дитя,
Перепугалась не шутя;
Сейчас ребенка подхватила,
Лечить в хоромы потащила...
Ребенок на руках у матери ревет,
Колючки острые клянёт,
За ним и мать вопит, колючки проклиная.
«Вот я их! – говорит, ребенка утешая. —
Колючки гадкие! Вишь, смели обижать
Малюточку мою! Сейчас их всех содрать».
Конечно, всё лишь это были прибаутки
Для шутки

От истинной любви к малютке.
Хавронье ж, горничной, случись вблизи стоять.
Привыкши век свой всё буквально понимать, —
Притом же с барыней холопке что за шутки! —
Хавронья и на этот раз
Всё поняла за истинный приказ,
Хоть очевидно,
Для сада будет преобидно.
Хоть говорится иногда:
Спрос не беда,
Не послушанье
(Ведь ухо может изменить) —
Сомнительное приказанье
Не грех подчас переспросить.
Иль в знак сомнения хоть за ухом почешешь:
За что ж, мол, иль себя, или господ опешишь?
Лишь стоит быть чуть-чуть с умом.
Но бабы как-то слабы в нем!
Хавронья ж добрая была зато такая,
Что общите целый свет —
Подобной нет!
А потому, припоминая,
Что этот плач и вой
В дому от игл уж не впервой,
Ей было по душе скорей беду исправить,
Чтоб и вперед дитя от бед избавить
И дому барскому усердье показать.
(Хорошие дела откладывать не надо:
А может, будет и награда!)

Давай сейчас в саду колючки оскребать!
Обчистив розы, отправилась в шиповник,
Потом в крыжовник,
В малину сочную – везде колючки есть!
На всё колючее изволила насестъ.
С колючками кой-где и кожу всю содрала
И неколючее вокруг всё перемяла.
Через неделю всё повяло!
Колоться нечем!.. Бабе честь!..
Зато понюхать иль поестъ
В саду бывало прежде густо,
А нынче – пусто!..

1849 (?)

И так у нас в натуре:
Мигни только цензуре.

Словно север магнит...

Словно север магнит,
Меня глаз твой манит —
Восхитительный глаз.
Томный, нежный, как даль,
И блестящий, как сталь —
Вороненая сталь.
Как челнок в молоке
На Эдемской реке —
Перелетный зрачок.
Твой таинственный круг
С перламутром вокруг —
С перламутром живым.
С век ресниц густой лес
Бросил тайны навес
На огнистый глазок,
А слезинка-роса
Утра – девы краса —
Раскатилась волной.

Что слеза течет...

Что слеза течет
Из очей твоих, добрый молодец?
Что ты, молодец, стариком
Смотришь? Ни забавами
Не забавишься, ни речей молвишь,
Ни споешь песни по-бывалому?
Худо молодцу.
Прежде где тебя искать, молодца?
В посиделки – марш. – Там найдешь тебя.
Красный молодец красным девицам
Был калач с медом. А теперь сухарь,
Смотреть не на что. Напросился сам
Лихой болести. Скребет под сердцем,
Сердце высохло.
А с пустым сердцем и истерзанным,
Что с пустой сумой и изорванной,
Плохо в свете жить.
Опустились руки молодца работающие,
Бегуны-ноги подкосились...

Счастье заперто золотым ключом...

Счастье заперто золотым ключом:
Не цветным оно, и не месячным,
И не радужным, и не солнечным —
А горит оно золотым лучом!..
Оно нежится и покоится
В золотом шатре, на златом ковре.
Говорят, в добре обретишь его.
Часто добрые ходят по миру
В жгучем холоде, в тошном голоде —
Сердцу ангела не полюбится!
Говорят еще – счастье верный друг
Чистой совести. Чистой совести?!
Совесь чистая, струнка звонкая
И досадная – от всего гудит!
Совесь чистая – море гладкое и спокойное,
Коли море есть, так и бури есть,
И несчастья, и крушения...

10 ноября 1847 г.

Со вчерашнего дня...

Со вчерашнего дня
Ее нет для меня. —
Уж с другим под венцом
Поменялась кольцом;
Ему верною быть,
Его нежно любить
Клятву богу дала, —
Перед богом лгала!
Правда, верною быть
Можешь ты, но любить?...
(Память как истребить,
Как насильно забыть?)
Ты любила меня
До венчального дня,
И любила за что?...
За красу? – Нет, не то!
Я не так-то пригож
Из себя – так за что ж?
Неужель за мундир?
Но и новый кумир
Твой не носит мундир,
Ни то я весельчак,
Ни удалый смельчак,
Ни шаркун, ни танцор,
Иль сердец славный вор,

Даже в дамском кругу
Был я век ни гу-гу!
Разум – очень простой.
Карман? – вовсе пустой...
А любила меня
До венчального дня!
Что ж такое во мне?
Не в душе ли на дне
Отыскала ты что
И любила за то?
Не сыскала ль ты там,
Что я прячу там сам
От холодных людей,
Полных светских идей, —
Тему жизни моей?...
И пленившись ей,
Ты нашла, что она
Из *Любви* спрядена,
Добротой заткана
И *Трудом* скреплена.
Что любовь та, что там,
Не к минутным вещам,
Что добро то, что там,
Раздается людям
Не в мешках золотых,
А в идеях простых,
На основах святых.
И что труд тот, что там,
Добровольно я сам

Предпринял для людей
Без корыстных идей. —
Коль ты так поняла,
То вчера ты лгала,
Когда клятву дала
Век другого любить
И меня позабыть.

Коль не так поняла,
Ты свободна была —
Честно клятву дала.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменила вполне.
Коль не так поняла,
Ты другого ждала,
Ты ждала лишь чепца,
Твоим деткам отца.
Вот теперь есть и муж.
Он хоть стар, неуклюж
И, коль верить людям,
Он душою не прям
(Что залоги берет
И проценты дерет),
Что схвастнуть тороват,
Но зато он богат.
Он в довольстве, в добре,
Все кругом в серебре,

В злате, в камнях драгих.
И в палатах больших
Будет нежить тебя,
Может, страстно любя.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменяла вдвойне:
Будешь в роскоши жить,
Как со мной бы не быть.
Мой удел не таков!..
Не давать мне балов
И богатым не быть!
Мой удел – скромно жить.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменяла втройне:
В жемчугах, в бирюзах
Ездить с пира на пир,
Веселее в глазах
Весь покажется мир.
Пусть набитый карман
Есть моральный обман,
Но какая-то есть
В нем могучесть! И честь
И патенты к уму —
Все доступно ему.
Так от мужниных сумм

Вознесется твой ум.

И, полна гордых дум,
Если вспомнишь хоть раз,
Что обоих бы нас
Ожидало с тобой, —
Будешь ты в этот час
Предовольна собой!
Если ж душу мою
Ты любила во мне,
То, мой друг, позабудь!
Лучше твердою будь! —
Больше слез сбережешь:
Что прошло – не вернешь,
Что венцом скреплено —
Как натурой дано!
Если ж душу мою
Ты любила во мне,
Я потерю мою
Постигаю вполне.
И когда твой супруг
Будет счастлив с тобой,
Я, – поверь, милый друг, —
Посмеюсь над собой.

Бог взамен великих сумм...

Бог взамен великих сумм
Дал мне благо чистых дум,
Мытых в горьких слезах.
Вековечней этот дар,
Чем все злато гордых бар,
Без труда, с наследством.
На скопленных золотых
Не напишут имя их
В память для потомков.
Эта честь одним царям
Да талантливым трудам —
Имя их навеки.
С болью злато с рук идет,
Рад делиться думой плод
С тем, кто это ценит.
Попроси у богача,
Скажет: не найду ключа,
В деньгах он откажет.
Мысль — свеча, от ней зажечь
Можно миллионы свеч, —
Пламя не убудет.

Из послания к Н.С. Шишмаревой

...Такая роль,
Как я играл в Москве, не ноль,
Я даже был формально в моде
И не в одном своем приходе —
У Харитонья в огороде,
За мною слали все гонцы,
Князья, бояре и купцы,
Вдобавок про меня писали,
Хоть вы, конечно, не читали:
К лицу ли вам журнальный вздор!
Зато других всеобщий взор
Следил меня за каждым шагом.
Для праздной скуки был я благом,
И даже (это хоть секрет)
Восторгов я бывал предмет.
Божусь, таинственные лица,
Какие-то три баловницы,
Ко мне послания в стихах
Прислали. Жар какой в строках!
Конечно, это бережется
И, может, вам когда прочтется,
И наконец, в последний день,
Тащиться только было лень,
Укладкой занят был к тому же,
Одна N. N. прислала мужа,

Чтоб он меня с собою взял
К дагерротипщику и снял
Портрет мой! – Только без портрета
Уехал. Все же лестно это...
...Спокойны можете быть вы —
Для света жизнь моя отпета.
Меня всегда условия света
Своею мелкой суетой
И безутешной пустотой
Пугали. К благородной цели
Я шел в тиши. Достиг. И мне ли
Теперь опять в чаду побед
В оставленный с презреньем свет
С повинной головой вернуться!
Перед обычаями гнуться
Мне, победившему, рабом!
Нет, нет! В успехе я моем
Тому лишь только и обязан,
Что я со светом не был связан.
Запаса божеских даров
Не растерял там средь пиров
Иль мелочной визитной гонки —
Итоги этих дел не звонки;
Я ж время, как алмаз, берег —
И звонче вышел мой итог.
Хоть потихоньку, год от году
Мое уж имя по народу
Разносится с хвалой. Ужель
Бедна, бледна такая цель?

А я дитей не слыл как гений,
Все жертвой светских наслаждений,
Презреньем к свету все купил
То, чем теперь я людям мил.
Меж тем теперь не раз княгини
Мне говорили: «Если б в сыне
Могло развиться все, как в вас». —
«Коль есть талант, то в добрый час! —
Я отвечал. — Дары природы
Не любят только света моды,
Пускай отдаст их ваш сынок
За скромный тихий уголок,
За мысль: что высшее стремление,
Души прямое назначение —
Развитье лучших свойств ее,
Что вот что истинно свое.
Чинам в беде — грозит солдатство.
Невзгоды есть и для богатства,
И связи — прах: сегодня — князь,
А завтра, смотришь, втопан в грязь.
Все — случай. Но талант развитый,
Как монумент из меди литый.
Зарой хоть в землю! Сто веков
Там пролежит. Откройте, — нов!
И снова — людям утешенье —
Он хорошеет от гоненья...»

К живому идеалу

Знаешь ли, душечка, как ты мне нравишься!
Просто беда пришла, с сердцем не справишься,
Так и клокочет в груди.
Но, может, таю, мечтаю напрасно я,
Ты и не внемлешь, быть может, прекрасная.
Знаю наверное, розочка алая,
Что не рожден в твоего идеала я,
Ты же с моим, как две капли, родилася,
С первую встречей в душе воцарилася.
Прочь, мечта брака, мечта, всем доступная,
Если желать, так уж что-нибудь крупное, —
Славы искать впереди!
Трудно ужиться Любви со славою,
Обе друг другу век будут отравой,
Обе равно для души моей милые.
Двум угодить – где возьму столько силы я?
Дум углубленье морозит объятия,
Жар поцелуев туманит понятия.

* * *

Прочь, мечта брака, в любви неизбежная,

Прочь, розы уст, скройся, грудь белоснежная!
Бури в груди с вами жди!
Будь лишь мне, душечка, ангелом, гением,
Правь моим сердцем, моим вдохновением,
Дух укрепляй мой в минуту усталости,
В замыслах черных будь грозна без жалости!
Кто ж будет муж твой – не знаю я...
Волен во сне лобызать твои очи я.

* * *

Я наряжу тебя в пышной фантазии
Лучше, чем жен своих деспоты Азии, —
Солнце пришью ко груди,
В косу луну диадемой вверх рожками,
Старшие звезды сережками, брошками.

В. Г. Перов

1834–1882 гг.²⁷

Тетушка Марья

Несколько лет тому назад я писал картину,²⁸ в которой мне хотелось представить типичного мальчика. Долго я его отыскивал, но, несмотря на все поиски, задуманный мною тип не попадался. Однако раз весной, это было в конце апреля, в великолепный солнечный день я как-то бродил близ Тверской заставы, и навстречу мне стали попадаться фабричные и разные мастеровые, возвращающиеся из деревень, после Пасхи, на свои тяжелые летние работы; тут же проходили целые группы богомольцев, преимущественно крестьянок, шедших на поклонение преподобному Сергию и московским чудотворцам; а у самой заставы, в опустелом сторожевом доме с заколоченными окнами, на полуразвалившемся крыльце я увидел большую толпу усталых пешеходов. Иные из них сидели и пережевывали какое-то подобие хлеба; другие, сладко заснув, разметались под теплыми лучами

²⁷ Все произведения печатаются по изданию: *Перов В. Рассказы художника*. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1960.

²⁸ Речь идет о картине «Тройка. Ученики мастеровые везут воду».

блестящего солнышка. Картина была привлекательная!

Я стал вглядываться в ее подробности и в стороне заметил старушку с мальчиком. Старушка что-то покупала у вертлявого разносчика. Подойдя ближе к мальчику, я невольно был поражен тем типом, который так долго отыскивал. Я сейчас же завел со старушкой и с ним разговор и спросил их между прочим: откуда и куда они идут? Старушка не замедлила объяснить, что они из Рязанской губернии, были в Новом Иерусалиме, а теперь пробираются к Троице-Сергию и хотели бы переночевать в Москве, да не знают, где приютиться.

Я вызвался показать им место для ночлега. Мы пошли вместе. Старушка шла медленно, немного прихрамывая. Ее смиренная фигура с котомкой на плечах и с головой, обернутой во что-то белое, была очень симпатична. Все ее внимание было обращено на мальчика, который беспрестанно останавливался и смотрел на все попадающееся с большим любопытством; старушка же, видимо, боялась, чтобы он не затерялся. Я между тем обдумывал, как бы начать с ней объяснение по поводу моего намерения написать ее спутника. Не придумав ничего лучшего, я начал с того, что предложил ей денег. Старушка пришла в недоумение и не решалась их брать. Тогда уже, по необходимости, я сразу высказал ей, что мальчик мне очень нравится и мне бы хотелось написать с него портрет. Она еще более была удивлена и даже как будто оробела. Я стал объяснять мое желание, стараясь говорить как можно проще и понятнее. Но как я ни ухитрялся, как

ни разъяснял, старушка почти ничего не понимала, а только все более и более недоверчиво на меня посматривала. Я решился тогда на последнее средство и начал уговаривать пойти со мною. На это последнее старушка согласилась. Придя в мастерскую, я показал им начатую картину и объяснил в чем дело. Она, кажется, поняла, но тем не менее упорно отказывалась от моего предложения, ссылаясь на то, что им некогда, что это великий грех, да, кроме того, она еще слышала, что от этого не только чахнут люди, но даже умирают. Я по возможности старался уверить ее, что это неправда, что это просто сказки, и в доказательство своих слов привел то, что и цари, и архиереи позволяют писать с себя портреты, а св. евангелист Лука был сам живописец, что есть много людей в Москве, с которых написаны портреты, но они не чахнут и не умирают от этого. Старушка колебалась. Я привел ей еще несколько примеров и предложил ей хорошую плату. Она подумала, подумала и, наконец, к моей великой радости, согласилась позволить снять портрет с ее сына, как оказалось впоследствии, двенадцатилетнего Васи. Сеанс начался немедленно.

Старушка поместилась тут же, неподалеку, и беспрестанно приходила и охорашивала своего сына, то поправляя ему волосы, то одергивая рубашку: словом, мешала ужасно. Я попросил ее не трогать и не подходить к нему, объясняя, что это замедляет мою работу.

Она уселась смирно и начала рассказывать о своем жи-

ть-быть, все посматривая с любовью на своего милого Васю. Из ее рассказа можно было заметить, что она вовсе не так стара, как мне казалось с первого взгляда; лет ей было немного, но трудовая жизнь и горе состарили ее прежде времени, а слезы потушили ее маленькие кроткие и ласковые глазки.

Сеанс продолжался. Тетушка Марья, так ее звали, все рассказывала о своих тяжелых трудах и безвременье; о болезнях и голоде, посылаемых им за их великие прегрешения; о том, как схоронила своего мужа и детей и осталась с одним утешением – сынком Васенькой. И с той поры, уже несколько лет, ежегодно ходит на поклонение великим угодникам Божиим, а нынешний раз взяла с собой в первый раз и Васю.

Много рассказывала она занимательного, хотя и не нового, – о своем горьком вдовстве и бедности крестьянской.

Сеанс был кончен. Она обещала прийти на другой день и сдержала свое обещание.

Я продолжал мою работу.

Мальчик сидел хорошо, а тетюшка Марья опять много говорила. Но потом начала позевывать и крестить свой рот, а наконец, и совсем задремала. Тишина настала невозмутимая, продолжавшаяся около часу. Марья спала крепко и даже похрапывала.

Но вдруг она проснулась и стала как-то беспокойно суетиться, ежеминутно спрашивая меня, долго ли я еще их продержу, что им пора, что они опоздают, время-де далеко за

полдень и нужно бы давно им быть в дороге. Поспешив окончить голову, я поблагодарил их за труд, рассчитался с ними и проводил их. Так мы и расстались, довольные друг другом.

Прошло около четырех лет. Я забыл и старушку и мальчика. Картина давно была продана и висела на стене известной в настоящее время галереи г. Третьякова).

Раз в конце страстной недели, возвратившись домой, я узнал, что у меня была два раза какая-то деревенская старуха, долго дожидалась и, не дождавшись, хотела прийти завтра. На другой день, только что я проснулся, мне сказали, что старуха здесь и ждет меня. Я вышел и увидел перед собою маленькую, сгорбленную старушку с большой белой головной повязкой, из-под которой выглядывало маленькое личико, изрезанное мельчайшими морщинками; тонкие губы ее были сухи и как бы завернулись внутрь рта; маленькие глазки глядели грустно.

Лицо ее было мне знакомо: я видел его много раз, видел и на картинах великих живописцев и в жизни. Это была не простая деревенская старушка, каких мы встречаем так много, нет — это было типичное олицетворение беспредельной любви и тихой печали; в нем было что-то среднее между идеальными старушками в картинах Рафаэля и нашими добрыми старыми нянями, которых теперь уже нет на свете, да и вряд ли когда-либо будут им подобные. Она стояла, опираясь на длинную палочку, со спирально вырезанной корой; ее нагольный полушубок был опоясан какою-то тесьмой; веревка

от котомки, закинутой на спину, стянула воротник ее полушубка и оголила исхудалую, морщинистую шею; ее неестественной величины лапти были покрыты грязью; все это ветхое, не раз чиненное платье имело какой-то печальный вид, и что-то пришибленное, страдальческое проглядывало во всей ее фигуре. Я спросил, что ей нужно. Она долго беззвучно шевелила губами, бесцельно суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платочек, подала их мне, прося убедительно принять подарок и не отказать ей в ее великой просьбе. Тут она сказала мне, что знает меня давно, что года три назад она была у меня и я списывал ее сына, и, насколько умела, даже объяснила, какую я писал картину. Я вспомнил старушку, хотя и трудно было узнать ее: так она постарела в это время! Я спросил ее, что привело ее ко мне? И только я успел произнести этот вопрос, как мгновенно все лицо старушки как будто всколыхнулось, пришло в движение: нос ее нервно задергался, губы задрожали, маленькие глазки часто-часто заморгали и вдруг остановились. Она начала какую-то фразу, долго и неразборчиво произносила одно и то же слово и, видимо, не имела сил Досказать этого слова до конца. «Батюшка, сынок-то Мой», – начала она чуть ли не в десятый раз, а слезы текли обильно и не давали ей говорить. Они текли и крупными каплями быстро скатывались по ее морщинистому лицу. Я подал ей воды. Она отказалась. Предложил ей сесть – она осталась на ногах и все плакала, утираясь мохнатою полою своего закорuzлого по-

лушубка. Наконец, наплакавшись и немного успокоившись, она объяснила мне, что сынок ее, Васенька, прошлый год заболел оспой и умер. Она рассказала мне со всеми подробностями о его тяжелой болезни и страдальческой кончине, о том, как опустили его во сыру землю, а с ним зарыли и все ее утехи и радости. Она не винила меня в его смерти, — нет, на то воля божия, но мне казалось самому, как будто в ее горе отчасти и я виновник. Я заметил, что она также думала, хотя и не говорила. И вот, похоронивши свое дорогое дитя, распродавши весь свой скарб и проработавши зиму, она скопила деньжонок и пришла ко мне с тем, чтобы купить картину, где был списан ее сынок. Она убедительно просила не отказать ей в ее просьбе. Дрожащими руками развязала она платок, где были завернуты ее сиротские деньги, и предложила их мне. Я объяснил ей, что картина теперь не моя и что купить ее нельзя. Она опечалилась и начала просить, нельзя ли ей хоть посмотреть на нее. Я ее обрадовал, сказавши, что посмотреть она может, и назначил ей на другой день отправиться со мной; но она отказалась, говоря, что уже дала обещание страстную субботу, а также и первый день Светлого праздника пробыть у св. угодника Сергия, и, если можно, то придет на другой день Пасхи. В назначенный день она пришла очень рано и все торопила меня идти скорее, чтобы не опоздать. Часов около девяти мы отправились к г. Т(ретьякову). Там я велел ей подождать, сам пошел к хозяину, чтобы объяснить ему в чем дело, и, разумеется, немедленно полу-

чил от него позволение показать картину. Мы пошли по богато убранным комнатам, увешанным картинами, но она ни на что не обращала внимания. Придя в ту комнату, где висела картина, которую старушка так убедительно просила продать, я предоставил ей самой найти эту картину. Признаюсь, я подумал, что она долго будет искать, а быть может, и совсем не найдет дорогие ей черты; тем более это можно было предположить, что картин в этой комнате было очень много. Но я ошибся. Она обвела комнату своим кротким взглядом и стремительно пошла к той картине, где действительно был изображен ее милый Вася. Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: «Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!» – и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол.

Предупредивши человека, чтобы он оставил в покое старушку, я пошел наверх к хозяину и, пробывши там около часу, вернулся вниз посмотреть, что там происходит. Следующая сцена представилась моим глазам: человек, с влажными глазами, прислонившийся к стене, показал мне на старушку и быстро вышел, а старушка стояла на коленях и молилась на картину. Она молилась горячо и сосредоточенно на изображение ее дорогого и незабвенного сына. Ни мой приход, ни шаги ушедшего слуги не развлекли ее внимания; она ничего не слыхала, забыла обо всем окружающем и только видела перед собой то, чем было полно ее разбитое сердце. Я

остановился, не смея помешать ее святой молитве, и, когда мне показалось, что она кончила, подошел к ней и спросил: нагляделась ли она на своего сына? Старушка медленно подняла на меня свои кроткие глаза, и в них было что-то неземное. Они блестели каким-то восторгом матери при нечаянной встрече своего возлюбленного и погибшего сына. Она вопросительно остановила на мне свой взгляд, и было ясно, что она меня или не поняла, или не слыжала. Я повторил вопрос, а она тихо прошептала в ответ: «Нельзя ли к нему приложиться», – и показала рукой на изображение. Я объяснил, что этого нельзя, по наклонному положению картины. Тогда она стала просить позволить ей еще насмотреться в последний раз в ее жизни на ее милого Васеньку. Я ушел и, возвратившись с хозяином г. Третьяковым) часа через полтора, увидел ее, как и в первый раз, все в том же положении, на коленях перед картиной. Она нас заметила, и тяжелый вздох, более похожий на стон, вырвался из ее груди. Перекрестившись и поклонившись еще несколько раз до земли, она проговорила: «Прости, мое дорогое дитя, прости, мой милый Васенька!» – встала и, обернувшись к нам, начала благодарить г. Т(ретьякова) и меня, кланяясь в ноги. Г. Т(ретьяков) дал ей несколько денег. Она взяла и положила их в карман своего полушубка. Мне казалось, что она это сделала бессознательно.

Я, со своей стороны, обещал написать портрет ее сына и прислать ей в деревню, для чего взял ее адрес. Она опять по-

валилась в ноги – немало было труда остановить ее от изъяснения такой искренней благодарности; но, наконец, она как-то успокоилась и распрощалась. Сходя со двора, она все крестилась и, оборачиваясь, кому-то низко кланялась. Я также простился с г. Т(ретьяковым) и пошел домой. На улице, обгоняя старушку, я посмотрел еще раз на нее: она шла тихо и казалась утомленной; голова ее была опущена на грудь; по временам она разводила руками и о чем-то сама с собой разговаривала.

Через год я исполнил свое обещание и послал ей портрет ее сына, украсивши его вызолоченною рамкою, а спустя несколько месяцев получил от нее письмо, где она мне сообщала, что «лик Васеньки повесила к образам и молит бога о его успокоении и моем здравии». Все письмо от начала до конца состояло из благодарностей.

Вот прошло добрых пять или шесть лет, а и доньше нередко передо мной проносится образ маленькой старушки с ее маленьким личиком, изрезанным морщинками, с тряпицею на голове и с заскорузлыми руками, но великой душой.

И эта простая русская женщина в ее убогом наряде становится высоким типом и идеалом материнской любви и смирения.

Жива ли ты теперь, моя горемычная? Если да, то посылаю тебе мой сердечный привет.

А быть может, давно уже она покоится на своем мирном сельском кладбище, испещренном летом цветами, а зимой

покрытом непроходимыми сугробами, – рядом со своим возлюбленным сынком Васенькой.

На натуре (Фанни под № 30)

В больнице

В 67-м году я писал картину под названием «Утопленница». Мне понадобилось написать этюд с мертвого молодого женского лица. Я обратился к одному своему приятелю доктору, а он дал мне рекомендательное письмо к другому доктору, служившему в полицейской больнице; этот последний, когда я к нему явился, немедленно повел меня в покойницкую, которая помещалась в саду, довольно далеко от здания больницы. Нас там встретил старый и, что называется, плюгавый солдатик с шершавыми волосами и усами, росшими в одну сторону, вероятно, от частого утирания носа рукавом. На вопрос доктора: сколько мертвых женщин? – он, как-то комично вытянувшись, отвечал:

– Женщин ни одной нет-с; а только и есть что два, в нынешнюю ночь умершие, арестанта да повесившийся кучер.

– Так вот что, Заверткин! (таково было прозвище солдата). Когда у тебя будут мертвые женщины, то извести вот их (он указал на меня). Им нужно списать, понимаешь?

– Слушаю, ваше благородие!.. А куда прикажете изве-

стить?

Я дал Заверткину адрес, и мы расстались.

Дня через четыре или пять Заверткин явился ко мне и «отлепортовал», что мертвых женщин довольно, а на вопрос мой: «Есть ли молодые?» – тряхнув головой, ответил:

– Всяких довольно!.. – причем утер рукавом нос.

На другой день я был в больнице. Старый солдатик встретил меня в очень ветхом военном сюртуке, поверх которого был надет заскорузлый с нагрудником фартук. Стараясь помочь мне внести шкатулку и другие принадлежности для живописи, солдатик засуетился.

– Пожалуйста сюда!.. все готово!.. – заискивающе говорил он.

Мы вошли сперва в мертвецкий покой. Это была очень большая четырехугольная комната, выкрашенная белой краской, с каменным полом. На стене висела картина, изображающая Снятие со креста, а около нее помещалось очень много больших и маленьких образов. Кругом стен шла сплошная широкая лавка; только в одном углу у двери стоял небольшой деревянный стол, за которым сидела и что-то шила пожилая женщина, одетая чуть не в лохмотья. На полу возились ребяташки.

Заверткин провел меня в смежную комнату, направо. Она была меньше первой. В ней стоял большой четырехугольный стол из серого мрамора с круглым отверстием посередине, и больше мебели не было никакой. Пол был густо усыпан

песком, как в цирке. Сюда-то Заверткин внес все мои вещи и, положив их на пол, еще раз сказал: «Пожалуйста!»

Мы пошли в третью комнату. Чтобы войти в нее, нам нужно было подняться на несколько ступенек. Это была не комната, а скорее пустой полутемный чердак. Оказалось, однако, что это был и не чердак, и не комната, а просто ледник, устроенный так: внизу был ямник, где лежал лед, а над ним дощатый, с большими щелями пол, на который клали трупы, чтобы в летнее жаркое время трупы эти не скоро разлагались.

Осмотревшись, я ясно различил несколько покойников, лежащих рядом и прикрытых простынями.

Заверткин бесцеремонно начал сдергивать с них простыни, приговаривая:

– Эво! Сколько у нас красавиц-то! Выбирайте, ваше благородие, которая вам более подходяща.

Я указал на один труп, показавшийся мне всех моложе.

– Вот эту бы, – сказал я.

– Слушаю! – проговорил Заверткин и, раздвигая ногой покойников направо и налево, прошел к указанному мною трупу. Взяв в охапку, он взвалил, кряхтя, труп на плечо и пошел с ним из ледника, прибавив свое неизбежное: пожалуйста!

Мы вернулись в комнату, где лежали мои вещи.

Заверткин нес свою ношу, как мешок с овсом, и, остановясь, спросил:

– Где прикажете положить?

Я указал. Принагнувшись немного, Заверткин сбросил с плеча со всего размаха свою ношу на пол. Как-то ткнувшись головой и раскинув крестообразно руки, труп грузно шлепнулся о мягкий песчаный пол. Это был труп молодой исхудалой женщины. Длинная коса ее раскинулась по песку, грудь обнажилась, рубашка завернулась выше колен.

Я взглянул на нее и чуть не вскрикнул от изумления: «Боже мой, да это Фанни!...»

И действительно, это была она, со своими темно-красными волосами. «О! Фанни! Фанни! Так вот где мне пришлось с тобой встретиться. Бедная женщина!»

Но об этом после.

Наскоро устроившись, с помощью Заверткина, я принялся за работу. Заверткин, повертевшись немного около меня, ушел. Я остался один...

Окно отворено. Кругом сад. В саду так тепло и весело, солнце жжет... Отчего же мне так холодно и жутко... и так болезненно заныло сердце?...

Но я работаю; и чем больше смотрю на покойницу, тем только живее и живее она мне представляется. Точно несколько дней назад мы с ней виделись! Минутами мне даже кажется, что она смотрит на меня и тяжело дышит. Мне становится в эти минуты как-то страшно... А мухи массами так и летают вокруг; поползав по покойнице, они роями перелетают на меня и лезут в рот и глаза... Страшно... и хо-

лодно...

Но, слава богу, явился Заверткин, вытирая по обыкновению нос и губы рукавом. От него пахло водкой. Видимо, что он прилично, как говорится, выпил и закусил.

Присевши на мраморный стол, он, улыбаясь, развязно уже обратился ко мне с вопросом:

– А вы изволите все трудиться?

И тут же как бы в заключение вопроса вытащил табакерку и с остервенением понюхал табаку.

– Да, работаю... А скажите, пожалуйста, вы давно здесь служите? – спросил я его.

– Давненько-с, ваше благородие! Лет двадцать, почесь, будет!

– Где же вы живете?

– Как, где живу? – переспросил он.

– Ну-да! Где ваша квартира?

– А вот... тут рядом. Вы проходили ейной.

– И вам не страшно?

Понюхав опять табаку и ехидно засмеявшись, Заверткин ответил:

– Страшно?... Бона! Пора пройтить страху... По мне теперича все едино: что живой, что мертвый... Да живого-то еще больше нужно опасаться! – добавил Заверткин внушительно. – А то страшно!.. Вы верите ли, ваше благородие?... Грешный человек! Иной раз не в меру выпить случится... баба ругается... ну и уйдешь от нее на ледник, где мы с вами

были, раздвинешь приятелей-то, Да и заляжешь в середку... и такую-то задашь высыпку... Там, знаете, и прохладно, и муха не тревожит... А то – страшно!.. Нам ведь нельзя бояться, потому мы завсегда с ними.

И он указал рукой на труп Фанни, раскинувшийся точно от жары и истомы.

– Что это у нее за ярлык привязан к руке? – спросил я, заметив бляху на руке Фанни.

Заверткин с каким-то презрением скосил глаза на покойницу и отвечал:

– Это значит, гулящая... Ведь они словно оглашенные: ни отчества, ни прозвища не имеют... Кладут их в больницу просто: Дарья либо Марья под таким-то номерком. А эта...

И он слез со стола, наклонился над трупом и, посмотрев на жестяную бляху, сказал:

– А эта – Фенька под № 30...

Становилось темно. Пора было кончать работу.

– Прикажете ее убрать? – осведомился Заверткин.

Я попросил не убирать и, если можно, оставить все так, как есть, до завтра.

– Слушаю-с! Можно и так оставить... Вот только как бы ее крысы не испортили... уж очень много у нас развелось их, проклятых!

И Заверткин, из предосторожности, снял свой закорузлый фартук и накрыл им покойницу.

На другой день я приехал рано. На мраморном столе, где

вчера сидел Заверткин, лежал теперь труп женщины, покрытый чистой простыней. Только я уселся работать, как вошел знакомый доктор и просил меня выйти, объясняя, что нужно анатомировать труп.

– Вам неприятно ведь будет это видеть, – добавил он как бы в свое оправдание.

Я вышел. Навстречу мне попались еще два доктора, а с ними, суетясь и забегая вперед, семенил Заверткин.

Не прошло и получаса, как я опять сидел за работой. Труп по-прежнему лежал закрытый на столе. Только под столом явился большой медный таз, куда, шлепая тяжелыми каплями, стекало что-то, походящее на кровь.

Через несколько времени доктора снова вернулись, но в сопровождении уже главного доктора. Заверткин быстро сдернул простыню с покойника.

Главный доктор, высокий, полный, на вид гордый мужчина, прежде всего подошел ко мне. Молча посмотрел он на меня, потом на мою работу и, не проронив ни слова, отвернулся и подошел к трупу.

Старший ординатор, маленький, тщедушный, в очках и с измятым лицом, точно невыспавшийся, как-то вяло и нехотя сообщил о результате вскрытия мозга покойника.

– А сердце?

– И сердце тоже! – отвечал ординатор по-латыни.

– Гм!.. – промычал главный доктор и, обратись к Заверткину, сказал: – Ну-ка, брат, достань сердце.

Заверткин засучил рукава и обеими руками влез во внутренности покойника. Порывшись там, он что-то вытащил, и это «что-то» браво поднес на ладони главному доктору.

Ах, какое противное показалось мне на вид сердце человеческое!

Доктор велел его порезать.

Заверткин схватил нож и начал по нем пиликать. Я слышал какой-то неприятный и скрипящий звук.

– Что? – спросил главный доктор. – Скрипит?

– Скрипит, ваше превосходительство!

– Ну, хорошо! – и, обратясь к докторам он стал им что-то говорить, выходя в то же время за дверь.

Заверткин торопливо сунул сердце внутрь покойника, закрыл покойника простыней и бросился затем догонять докторов. Мне хотелось как можно скорее кончить этюд; но, к несчастью, разболелась голова, и этюда я не дописал.

Проходя через комнату, где жил Заверткин, я увидел на широкой лавке пустой желтый гроб. За столом пожилая женщина и дети хлебали щи из большой деревянной чашки.

Посмотревши на эту картину, я уже совсем выходил из мертвецкой, как вдруг, навстречу мне, в дверях показалась толстая «мамаша» (это была хозяйка известного сорта девиц, которую все они зовут обыкновенно «мамашей»). Я сразу узнал ее. Она вошла, грузно переваливаясь; за ней шли девицы; одна из них несла большой узел.

Заверткин, завидев «мамашу», заегозил и засуетился. Он

подал «мамаше» стул, на который, отдуваясь и вздыхая, она устало опустилась. Заверткин сбегал сейчас же за другим солдатом, — худым и высоким, — и оба они бережно вынесли на простыне и положили на пол, около пустого гроба, тело Фанни. Когда солдаты вносили ее, «мамаша» встала и начала плакать, а девицы все бросились к телу и стали крепко-крепко целовать Фанни в холодный лоб, в посинелые губы и в поблекшие щеки, заливаясь при этом горькими слезами.

Наплакавшись и нацеловавшись, они вынули из узла вещи и приступили к одеванию. Покойницу, чтоб удобнее было одевать, посадили... голова ее скатилась на грудь. Заверткин стал сзади на колени и поддерживал на бок валившийся труп. После долгой возни платье было надето. Девицы расчесали затем темно-красные волосы бедной Фанни, и все, разом подняв ее с пола, положили в гроб, где уже начали охорашивать и убирать голову цветами.

«Мамаша» отошла и села на стул, который быстрым движением успел подать ей Заверткин.

Я подошел к «мамаше» и спросил, долго ли была больна Фанни?

«Мамаша», как бы обрадовавшись, взглянула на меня...

— А вы разве знали ее?

— Да, знал! — и я припомнил ей мое посещение, о котором расскажу несколько далее.

— А ведь хорошая была девушка Фанни! — сказал я. «Мамаша» пустилась ее расхваливать.

– Ах, какая была хорошая!.. – заговорила она печальным голосом, вытирая платком свои заплывшие жиром глаза. – Безответная была девица!.. Таких немного... Она у меня давно жила... И я не раз замечала, что она болеет. Бывало, спросишь ее: «Фанни! Ты больна?» – «Нет! – говорит, – ничего, «мамаша»!» – А вот тебе и ничего!.. Скрытная была девушка... И верите ли! Дня три тому назад она была такая веселая весь вечер... все пела и пила портер с гостями... А наутро, как полоумная, вбежала и разбудила одну из девиц. Бросившись к ней на постель и схватив ее за руки, она с трудом, точно захлебываясь, застонала: «Ох! Боже мой!.. Господи!.. Как мне тяжело!!» И вдруг у нее хлынула кровь горлом... Девица испугалась, закричала, подняла гвалт, – страсти господни!.. А Фанни лежит на постели, а из нее так и хлещет, так и хлещет... Мы и то и се... Со страху-то ничего не найдем, да и что сделать – не знаем... Но, слава богу, кровь поунялась немножко, а как она пришла в чувство, тогда мы ее поскорей на извозчика, да и в больницу. Нам в доме-то не позволяют, да и негде держать больных... Так мы ее и отправили. Дорогой-то опять пошла кровь, и уж как довели до больницы, право, не знаю... А к вечеру того же дня она и скончалась в больнице... Ах! Как жаль бедную!.. Какая была хорошая девица!.. И как ее любили гости! Верите ли, нарасхват была она...

«Мамаша» замолкла, склонив печально голову. Она искренне сожалела Фанни!.. Да и как было не сожалеть: ведь

Фанни приносила такой хороший доход!..

А труп Фанни лежал, уже убранный цветами и покрытый белым кисейным саваном. На груди ее, у связанных какой-то тесемкой рук, вместо образа, лежал жестяной ярлык с № 30.

В мертвецком покое все было тихо. Ребятишки с пожилой женщиной доедали гречневую кашу и, набивая ею большие рты, посматривали на всех нас исподлобья. Я взял свой этюдник и ушел...

Нечего и говорить, что жизнь Фанни была порочна и презренна и что она, как говорится, падшая тварь. Даже солдат Заверткин и тот дал ей надлежащую оценку. Но я прошу у читателей снисхождения, хотя во имя одного высоко-го момента, бывшего в жизни Фанни. Этот момент и то сердечное сокрушение, о котором я расскажу вам, возвысило эту падшую до евангельской блудницы, спрошенной Спасителем: «Жено! Где твои обвинители?...»

Для ясности рассказа нам нужно будет вернуться на несколько лет назад.

В училище

Учитель наш, Егор Яковлевич Васильев,²⁹ был человек ис-

²⁹ *Васильев Егор Яковлевич* (1815–1861) – художник, преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества, в своей квартире давал приют ученикам, не имевшим средств. Жил у него и Перов.

ключительный. Высокой честности, ангельской доброты и кротости, всеми любимый и всеми уважаемый, он, поистине, был человек не от мира сего. Некто, знавший его, г. Э., говорил не раз нам, ученикам его: «Знаете что, господа, сей ветхозаветный муж (т. е. Егор Яковлевич) вылеплен из того материала, из которого лепят ангелов божиих». – И это была правда. Чтобы дать более ясное понятие о его доброте, я расскажу вам один эпизод из его жизни.

Егор Яковлевич, помимо того что был учителем в Училище живописи и ваяния, где и я учился в то время, давал также уроки рисования в Архитектурном училище, которое было тогда самостоятельным заведением и помещалось в Кремле. Там вместе с ним учительствовал некто г. Ястребов. Был ли он школьный товарищ Егора Яковлевича или только его сослуживец и знакомый, право, не знаю. Преподавателем же г. Ястребов был очень давно, так что до пенсии ему оставалось прослужить лет восемь, или около того. И он, конечно, мечтал об этом блаженном времени, как всякий служащий на коронной службе.

Но увы! Судьба подшутила над ним. Он заболел глазами и начал быстро слепнуть. Вследствие этого он не мог продолжать своей службы и вместе с тем не только должен был потерять надежду на выслугу пенсии, но оказался даже не в состоянии зарабатывать себе кусок насущного хлеба. Семья у него была громадная. Можете судить, каково было его положение!

Егор Яковлевич, переговоривши предварительно с г. Ястребовым, в один прекрасный день явился к директору Архитектурного училища и предложил давать уроки за г. Ястребова, но только с тем, чтобы последний продолжал числиться на службе.

К счастью, директор был хороший человек и изъявил полное согласие. И вот Егор Яковлевич три раза в неделю ходил пешком, невзирая ни на какую погоду, давать уроки за своего сослуживца. А тот, пока еще не совсем ослеп, каждое первое число являлся получать жалованье.

Мне случалось слышать рассказы о людях, таких добрых и сострадательных, что, при виде непокрытой бедности, они готовы были отдать последнюю копейку. Я также понимаю, что в минуту сердечного порыва весьма возможно раздать все, что имеешь. Но, воля ваша, отказываюсь от такого высокого подвига: ходить неустанно за товарища давать уроки три раза в неделю, никогда ими не манкируя, и делать это в продолжение — ни мало ни много — восьми лет, никогда и никому не заикнувшись об этом...

И это еще не все. По прошествии восьми лет совсем ослепнувший г. Ястребов умер. Конечно, уроки покойного были предложены Егору Яковлевичу. Но он, несмотря на то, что постоянно нуждался в деньгах, отказался от них и просил предоставить эти уроки другому своему сослуживцу, у которого так же, как и у г. Ястребова, было большое и нуждающееся семейство.

Так вот какой был человек наш учитель Егор Яковлевич!

С виду он был маленький, кругленький, с плешью, как изображают католических святых, всегда чисто выбритый, с черными, быстро бегающими, до бесконечности добрыми глазами, в которых, помимо доброты, выражался какой-то страх: точно он все боялся, как бы кого не обидеть, как бы не сделать кому какой-нибудь неловкости, или не просмотреть нуждающегося человека.

Егор Яковлевич учился в Академии художеств, когда там еще были казенные пенсионеры, и получил малую золотую медаль за живопись. Но на большую медаль не кончил своей программы: «Давид отсекает голову Голиафу». Эта неоконченная программа так и стояла всю его жизнь в мастерской. Когда он еще работал над ней, как-то раз он пригласил к себе Карла Павловича Брюллова. Брюллов нашел, что Давид, по приданной ему позе, очень похож на императора Павла Петровича, и своей, смелой до дерзости рукой перечертил ему мелом всю фигуру Давида. Егор Яковлевич смиренно обвел черты божественного Брюллова белой краской, да тем и кончил.

Итак, Егор Яковлевич был исторический живописец, воспитанный в школе Егорова, Шебуева и отца знаменитого Иванова, который и был его учителем. Следовательно, он был строгий классик, даже немного рутинный классик. Работал он очень медленно, но усердно, и за работой почти никогда не покидал своей трубки на длинном чубуке.

Я как теперь его вижу постоянно напевающим свою любимую песню «Оседлаю коня, коня быстрого» и сидящим согбленным, в синем академическом форменном сюртуке, с лирой на пуговицах, и в чепчике из зеленой клеенки, который он носил от ревматизма. Не бывши никогда женатым, он называл себя женихом божией матери, на том основании, что все старые девы считаются христовыми невестами.

Раз предложили ему написать на стене алтаря колоссальный запрестольный образ, который, кажется, назывался: Трех Радостей. Егор Яковлевич с большой готовностью, конечно, принял этот заказ и засел за сочинение эскиза в новом роде. Целые ночи просиживались им напролет, и, наконец, эскиз был готов. Мать Божию он изобразил стоящею прямо перед зрителем, с распростертыми кверху руками; по бокам ее четыре евангелиста, а вверху летающие ангелы.

Заказчику очень понравился эскиз. Дело было слажено, и нужно было приступить к исполнению, то есть нарисовать все фигуры голыми с натуры под драпировки, написать этюды, нарисовать картоны и проч., и проч. Я уже сказал, что Егор Яковлевич работал медленно, а потому вся эта процедура продолжалась очень долго.

Раз он подозвал меня к себе и сказал:

– Знаете что, В[асилий] Григорьевич] (он всех учеников своих звал по имени и отчеству), не знаю как быть-с! («с» была неизбежной частицей его речи). Нарисовал я с натурщика Тимофея фигуру божией матери. Да все это не хоро-

шо... не то-с!.. Нет ни пропорции, ни формы! Нужно было бы прорисовать ее с хорошей женской фигуры-с!

– Конечно, это было бы очень хорошо, – отвечал я, – но где ее добыть?

– Да, – продолжал Егор Яковлевич, – у нас в Петербурге еще кое-как можно достать, а здесь... – и он развел руками, – очень, очень трудно!

Егор Яковлевич, покуривая свою трубку, задумался.

– А знаете что, – заговорил он с оживлением. – Попробовать бы сходить в дома терпимости. Быть может, и найдется там что-нибудь подходящее.

И он, видимо, обрадовался своей мысли и, затянувшись всласть Жуковым, продолжал:

– Так вот что-с! Пойдемте-ка уж, вечером, поищемте... А днем-то они все спят-с...

Я, конечно, изъявил полную готовность, и мы решили вечером отправиться.

Часов в восемь я и Егор Яковлевич, в фуражке с кокардой, с тростью в виде костыля, сгорбленный, на вид очень древний, хотя ему было только пятьдесят лет, отправились на поиски натурщицы. Пришли мы прямо в известный в Москве переулок, изобилующий вышеупомянутыми домами, и вошли в первый, который был освещен. Нас обдало каким-то запахом сырости и затхлости, тяжелым и давящим.

«Запор» (так зовут прислугу в этих домах), колоссальных размеров, свирепый на вид, с усами, точно из проволо-

ки, помог нам раздеться. Мы разделись и вошли в большую залу. На первое впечатление она показалась нам наполненной цветами: кругом всех стен сидели девицы, одетые в платья всевозможных ярких цветов, преимущественно легких, чуть не газовых материй. Некоторые, положив голову на руку, тоскливо смотрели в темное окно; другие гадали на засаленных картах, раскладывая их на коленях; а иные сидели, как куклы в игрушечном магазине, и так же смотрели бессмысленно по сторонам. Прически и разные другие украшения ясно говорили о тщательной заботе к вечеру. Но лица в большинстве казались не интересны: многие были не первой молодости и, несмотря на толстый слой румян и белил, в них виделось истощение и усталость.

Зала была освещена несколькими канделябрами. В одном углу помещался треснувший рояль. При нашем появлении в залу вышел какой-то старичок, с очень длинной шеей, — сам худой, высокий и почти с голым черепом. Усевшись за рояль, он начал наигрывать прелюдии из какой-то кадрили.

Девицы оживились.

Егор Яковлевич вошел в залу очень сконфуженно и, оставаясь посреди ее, начал раскланиваться направо и налево со всеми девицами. Последние с недоумением смотрели на его старческую, смиренную фигуру, а он все стоял и раскланивался.

Некоторые из девиц начали бесцеремонно хохотать, а одна, подскочив к нему и взяв его за руку, залепетала шепеля-

во: «Дуска! Миенький! Прикажите сыграть кадрили. Мы с вами потансуем».

Егор Яковлевич совсем растерялся и бормотал, кланяясь: – Я-с... помилуйте-с... Вы-с...

Девицы окружили нас, и все они хохотали.

Желая как-нибудь прекратить эту сцену, я обратился к одной из хохочущих, почти старухе, которая, смеясь, показывала свои совсем черные и гнилые зубы, и объяснил ей, что нам нужно видеть хозяйку. При слове «хозяйка» девицы присмирели и стали шептать одна другой: «Они пришли к «мамаше». Ступайте скажите ей!»

Несколько девиц бросилось докладывать.

Мы стояли, точно пленники, поглядывая на окружающих, а они, в свою очередь, осматривали нас. Даже музыкант вытянул свою длинную шею и не сводил глаз с Егора Яковлевича.

В залу вошла, наконец, переваливаясь из стороны в сторону, как утка, очень тучная, но еще далеко не старая брюнетка (о которой я говорил раньше), с красивыми чертами лица, одетая нарядно, но во все черное.

– Что вам угодно? – обратилась она к Егору Яковлевичу, глядя на него испуганно.

Он начал раскланиваться, говоря:

– У меня до вас покорнейшая просьба-с. Мне бы хотелось переговорить с вами об одном деле-с.

– Пожалуйте сюда! – сказала «мамаша» и повела нас в бо-

ковую комнату, которая была уставлена мягкой мебелью с круглым столом посредине.

Опустясь грузно на один из диванов, «мамаша» пригласила сесть и Егора Яковлевича.

– Что же вам угодно? – начала «мамаша», смотря вниз и кокетливо перебирая пальцами массивную цепочку.

Егор Яковлевич принялся объяснять, что ему нужно. Конфузился, путал и, прибавляя иностранные и технические слова, еще более затемнял ими свою речь. А «мамаша» сидела, смотрела на него во все глаза, и было ясно видно, что она ничего не понимает. Егор же Яковлевич, разводя рукой по воздуху, старался выяснить, в чем дело.

– Извольте видеть, – говорил он, – я художник-с. и мне до крайности нужна модель, чтобы нарисовать с натуры-с... Но чрезвычайно трудно здесь, в Москве, найти натурщицу, и тем более у которой бы были хорошие формы-с... Вот я и прошу вас...

Но «мамаша» сразу обрезала Егора Яковлевича:

– Извините, господин, право, я вас совсем не понимаю! Что вы такое говорите?

Тогда мы оба, перебивая друг друга, принялись объяснять ей, что нам нужно. После немалых трудов мы достигли, кажется, того, что «мамаша» хотя и не поняла вполне, в чем дело, но догадалась, что нам нужно взять из ее заведения одну из девиц, которую мы выберем, для того, чтобы написать с нее портрет, за что она, «мамаша», и получит по уговору

плату. «Мамаша» на это заявила, что хотя она и отпускает девиц с гостями, но не иначе, как со знакомыми.

После долгих просьб, уверений и всего прочего она спросила наконец:

– Какую же вам нужно девицу?

– А вот-с... там мы видели одну девицу, в голубом платье-с, с венком из белых цветов на голове-с... – сказал Егор Яковлевич.

– А... – протянула «мамаша». – Это Фанни! – И она сейчас же кликнула Фанни.

Тут уже все и даже «мамаша» начали растолковывать Фанни, чего мы от нее хотим. Фанни, сверх ожидания, поняла скоро и хотя сконфузилась, но не отказалась приехать, предоставляя решить это «мамаше». «Мамаша», бесцеремонно объявив Егору Яковлевичу цену, добавила: «А ей вы должны сверх того дать что-нибудь на помаду».

Так было и решено, что Фанни приедет по оставленному ей адресу в мастерскую Егора Яковлевича.

На другой день, около полудня, явилась Фанни. Она вошла скромно, даже робко, напоминая только отчасти «погибшее, но милое создание». Днем она выглядела хуже, чем вечером, но ростом казалась выше. Личность ее была самая обыкновенная, только темно-красные волосы, вроде как у Тициановской Магдалины, бросались в глаза. Лет ей, по виду, было с чем-нибудь двадцать.

Егор Яковлевич встретил ее чуть не с распростертыми

объятиями и, усадив к столу, сейчас же начал угощать чаем, упрасывая при этом скушать булочку и беспрестанно повторяя: «Ах! Как я вам благодарен!»

Чай был кончен. Настало время приступить к работе. Вот тут-то и явилось важное затруднение. Нужно было объяснить Фанни, что она должна совсем раздеться, то есть остаться без сорочки и стать в ту позу, в которую ее поставят. Нельзя не признать, что это тяжелый шаг для всякой женщины, и мне кажется, легче окунуться в самую холодную воду, чем стать перед художником с обнаженным телом.

Но Фанни в этом случае не оказалась особенно Щепетильною. Выслушав спокойно сбивчивое объяснение Егора Яковлевича, она, нисколько не жеманясь, влезла на взгроможденные одна на другую табуретки, спустила платье, а затем и сорочку. Егор Яковлевич попросил ее поднять руки, поправил следки, то есть оконечности ног, и принялся рисовать.

Фанни стояла спокойно. В положении ее тела чувствовалось изящество. Сложена она была хорошо.

Егор Яковлевич рисовал с увлечением, даже не курил своей трубочки.

Наступила пора и отдохнуть. Фанни сошла с табуреток. Надевши сорочку и окутавшись большим клетчатым платком, она села с босыми ногами в угол дивана и совсем съехала. Егор Яковлевич закурил трубочку. Подсевши к ней очень деликатно и осторожно, он начал беседовать с нею, не касаясь ни одним словом до ее настоящей и прошедшей жизни.

ни. Она оказалась девушкой очень не глупой и довольно развитой.

После непродолжительного отдыха Фанни взобралась на табуретки и снова приняла данную ей позу, а Егор Яковлевич стал опять работать.

Так прошел первый сеанс, по окончании которого Егор Яковлевич отдал назначенные ее «мамашей» деньги и сверх того дал ей «на помаду».

Фанни осталась довольна, особенно тем, что с ней обходились не как с погибшим созданием, но как с девушкой, имеющей право на уважение. Проводив ее до самой двери и крепко пожав руку, Егор Яковлевич просил ее прийти на другой день.

На следующий день она опять позировала; но на третий сеанс случился именно тот казус, по поводу которого я и написал весь этот рассказ.

Было это так. В назначенный день Фанни явилась и по обыкновению взобралась на свои табуретки. Рисование началось обычным порядком. В минуты отдыха она садилась с голыми ногами, окутанная платком, в угол дивана, а Егор Яковлевич, запаливши трубочку, заводил с ней беседу. Говоря о том о сем, Фанни между прочим спросила:

– Скажите, пожалуйста, Егор Яковлевич, что такое вы со мной рисуете? То есть что это такое у вас будет?

– Это я рисую для образа, – пустился объяснять Егор Яковлевич. – Извольте видеть-с. Мне заказали большой образ –

Трех Радостей, который будет написан на стене, за престолом, в церкви, что на Покровке-с. Божию мать я думаю изобразить окруженною святыми евангелистами и летающими вокруг нее ангелами-с.

По мере рассказа лицо Фанни все как будто удлинялось, а глаза расширились.

– Она-с, то есть божия мать, – продолжал Егор Яковлевич, – будет стоять прямо перед престолом, не с предвечным младенцем, а так, просто одна-с, с распростертыми кверху руками и со взором, устремленным на небеса.

Когда Егор Яковлевич кончил свое объяснение, Фанни дрожащим от волнения голосом спросила:

– А кого же вы с меня-то делаете?

Егор Яковлевич с добродушной улыбкой отвечал:

– С вас-то-с?... А вот... с вас-то именно я и изображаю божью мать-с...

При этих словах Фанни как будто превратилась в мраморную статую страха. Глаза ее точно хотели выкатиться из орбит, рот открылся, и она смотрела в упор на Егора Яковлевича, близко придвинув к нему помертвелое свое лицо. Несколько секунд длилась эта безмолвная сцена. Наконец, Фанни хрипло, точно с трудом выпуская звук за звуком, почти шепотом заговорила:

– С меня... С меня... мать... божью!!!!.. Да вы с ума сошли, что ли?!..

Егор Яковлевич растерялся и молча смотрел на нее, а

Фанни продолжала шептать:

– С меня... мать... божию!!..

И точно электрический ток пробежал по Фанни, – она вскочила с дивана и, наклонясь затем всем телом над Егором Яковлевичем, а руки откинувши назад, как бы собираясь бить испуганного художника, заговорила порывисто:

– С меня... мать... божию!!.. Да ведь вы знаете, кто я такая!!.. Ведь вы знаете, откуда вы меня взяли... И с меня, погибшей, презренной и развратной женщины, которой нет спасения!!.. И с меня изображать лик пречистой девы Марии... ма-те-ри... божией!!.. Нет! Это невозможно!!.. Ведь это безумно!!.. О! Я проклятая... проклятая!!!.. – просто-нала тоскливо Фанни, как лопнувшая, не в меру натянутая струна, и, закрыв лицо руками, всею своею тяжестью она упала на диван и горько-горько зарыдала.

Егор Яковлевич до того растерялся, что не знал, что Делать. А она рыдала и рыдала, и круглое тело ее заколыхалось, точно качаемое волной.

Я прожил на свете немало. Много видал слез и разных проявлений людского горя. Но таких истерических слез и такого глубокого впечатления от рыданий никогда не испытывал. Это были не простые рыдания женщины, даже не скорбные рыдания матери... Нет! Это рыли какие-то стихийные рыдания, слушая которые волосы на голове становятся дыбом!

Платок, в который она была закутана, валялся на полу.

Темно-красные волосы ее рассыпались и повисли длинными прядями с дивана... А она все рыдала... и рыдала неудержимо: точно горе, накопившееся в ней годами, прорвало преграду и, хлынувши, сразу затопило ее.

О! Как это описание мое бледно и жалко сравнительно с действительностью!!! У меня не хватает ни умения, ни силы слова, чтобы хоть приблизительно передать этот душу раздирающий вопль, это отчаяние сознавшей свою погибшую жизнь великой грешницы!!..

Но вот она стала как бы успокаиваться, рыдания становились тише и тише.

Наконец, она быстро приподнялась, села на диван и стала смотреть на нас, как помешанная.

И это не удивительно! От таких потрясающих рыданий, мне кажется, можно не только сойти с ума, но даже и задохнуться.

Егор Яковлевич подошел к ней, держа в дрожащей руке стакан воды, и, сам чуть не плача, заговорил так ласково, точно само милосердие произносило слова его:

– Фанни! Фанни! Что с вами-с? Послушайте меня!.. успокойтесь!.. выпейте воды!..

А она сидела, не шевеля ни одним мускулом. Затем, как будто что-то вспомнив, вдруг встала и, ни на кого не глядя, как была босая, в одной рубашке, пошла к двери. Мы ее удержали и хотели опять было посадить на диван, но она грубо нас оттолкнула и, подойдя к тому месту, где лежало

ее платье, порывисто начала одеваться. Руки ее дрожали: не скоро она могла застегнуть крючки и завязать тесемки. Чулки надела наизнанку, шляпу набок и, быстро подобрав под нее свои густые волосы, не говоря ни слова, опять пошла к двери.

Егор Яковлевич остановил было ее и с ласкою любящего отца заговорил:

– Фанни! Да за что же вы сердитесь?

Но Фанни изумленно взглянула на него.

– Зачем вы уходите-с?... И даже не хотите проститься!.. Возьмите, по крайней мере, деньги, которые нам следуют за сеанс.

И он протянул ей руку с деньгами.

Фанни отвела его руку и с горько-презрительной усмешкой прошептала: «Нет!.. Не надо мне ничего вашего... О! Если бы я знала!!!..» И затем, закинув назад голову, так что свалилась было шляпа, она злобно взглянула на Егора Яковлевича и, как-то шипя, чуть не скрежеща зубами, проговорила с расстановкой:

– Да! Если б я знала, для чего вы меня позвали, Я не взяла бы с вас не только ваших проклятых денег, но даже <не потерпела бы> и того, что вы на меня глядите!!!..

И она чуть не в самые глаза ткнула ему пальцем и, повернувшись, как иступленная, быстро выбежала из комнаты.

А Егор Яковлевич так и остался у дверей с сокрушенно растерянным видом и с протянутой рукой, в которой держал

отвергнутые Фанни деньги.

Под крестом

*И бывает для человека того последнее хуже
первого*

Ев. от Матф. Гл. 12, ст. 45

В тот день, с которого начинается мой рассказ, небо сплошь затянулось темными, как осенняя ночь, тучами; они стремительно неслись с запада, точно стараясь догнать и поглотить одна другую. По временам как из ведра лил дождь, гром почти не умолкал; нередко блестела, ослепляя прохожих, яркая молния. Вверху все было грозно, мрачно и могуче, а внизу, на земле, – мокро, тоскливо и беззащитно. Прижавшись к стенам под выступами подъездов, православный люд крестился ежеминутно. Идущих и бегущих ветер преследовал с ожесточением, как будто старался сбить с ног, чтобы свалить в грязную бурлившую воду, заливающую даже тротуары. Погода, словом, была такая, когда добрый хозяин, как говорится, собаки на двор не выгонит.

В такой-то именно день кто-то постучался в дверь Моей мастерской. Я крикнул обыкновенное «войдите»... Дверь отворилась... Из двери, прежде всего, показался мокрый зонтик, а за ним моя хорошая знакомая Вера Николаевна Добролюбова.

Я бросил работу и, подходя к Вере Николаевне, встретил ее восклицаниями:

– Вера Николаевна!.. какими судьбами!.. по какому случаю!.. в такую убийственную погоду вы, с вашим расстроенным здоровьем!..

– Подождите, – ответила Вера Николаевна, поставив мокрый зонтик в угол у двери и начав снимать намокшее драповое пальто. – Вместо того, чтобы удивляться, поражаться и так далее, вы бы лучше сделали, если бы помогли мне снять пальто...

Я извинился в своей недогадливости; и когда пальто было снято, повешено, Вера Николаевна сняла шляпу, отряхнула ее, повесила и потом, поправив обеими руками свои намокшие густые черные волосы, проговорила:

– Ну, теперь давайте поздороваемтесь, – причем протянула мне свою беленькую худенькую ручку, – а я к вам с большим и даже очень большим делом.

Грешный человек, я просиял от удовольствия, услышав о деле. Да и поистине – для человека, живущего своим трудом, что может быть приятнее, как не слова: «я к вам с большим делом!...» Но увы! На этот раз очарование мое было очень непродолжительно...

Прежде, впрочем, чем приступить к сущности рассказа, считаю необходимым познакомить читателя с личностью Веры Николаевны – старой девы, как любила она себя называть. Ей было около тридцати лет. Среднего роста, худая, бледная, почти всегда больная, вечно принимающая *Kali bromatum*, вечно на диете. Одета всегда во все черное, она походила

скорее на монахиню из бедного монастыря, чем на девушку, живущую в мире и притом в весьма зажиточной семье. Собою она была так себе, или довольно симпатичная, как любят определять все дамы и девицы красоту своих подруг и знакомых, не желая сказать правду. Впрочем, глаза у нее были большие, совсем черные и чрезвычайно выразительные; они всегда горели лихорадочным блеском, как в большинстве бывает у больных чахоткою. Чтение было ее страстью; и чего-чего она только не перечитала из немецкой, французской и английской литератур, преимущественно, впрочем, любя русских писателей. Не говоря уже о Гоголе, Пушкине, она восторгалась также Гончаровым, Достоевским (тогда только что напечатавшим свой роман «Преступление и наказание»); кумирами же ее были и впоследствии остались Виктор Гюго и Томас Гуд.³⁰ «Песню о рубашке» она читать не могла иначе как без слез, «*Les Misérables*»³¹ сравнивала с притчей из евангелия, которое было всегда ее настольной книгой. Кроме чтения, в последние годы у Веры Николаевны развилась и еще одна страсть – это благотворительность. Повсюду отыскивала она бедных, больных и угнетенных, словом, всех тех, которым нужно было утешение, а еще более – помощь. Хотя ее плохое здоровье и осторожность, особенно

³⁰ Гуд Томас (1799–1845) – английский поэт; «Песня о рубашке» рассказывает о тяжелом труде швеи, стихотворение было чрезвычайно популярно в России в 1860-е гг.

³¹ «Отверженные», роман Виктора Гюго.

относительно простуды, мешали ей всецело предаться этому богоугодному делу, но, тем не менее, она все-таки немало помогала нуждающимся. Вот и все, что можно сказать о Вере Николаевне.

Пожав ее маленькую ручку и не выпуская из своей, я довел Веру Николаевну до кресла. Мы сели друг против друга, и, горя желанием узнать о большом для меня деле, я заговорил первый.

– Должно быть, Вера Николаевна, дело очень важное и интересное, если вы, вопреки вашей осторожности, пожаловали ко мне в такую невозможную погоду?

Вера Николаевна, видимо, заметила и поняла, или угадала мои мысли и мое нетерпение...

– Прежде всего, – проговорила она, опуская глаза вниз, – я прошу вас извинить меня за то, что я неточно и неверно выразилась. Я приехала к вам не предлагать что-либо, а, напротив, просить вас; и о том, как дорога и велика для меня моя просьба, вы можете судить именно по этой ужасной погоде.

Эти откровенные слова относительно не дела для меня несколько меня сконфузили. Я чувствовал, что покраснел; но Вера Николаевна смотрела вниз, вероятно, этого не заметила, а вернее – не хотела заметить.

– Вы знаете, Вера Николаевна, всякое ваше желание будет исполнено мною с великой радостью; сделайте милость – приказывайте, и вы увидите, с какою готовностью я исполню

вашу просьбу.

– Благодарю вас, я это ожидала.

При последних словах она подняла свои блестящие глаза, смотревшие до сего времени вниз.

– Просьба моя заключается вот в чем, – продолжала Вера Николаевна, – неделю тому назад у одних своих знакомых я увидела на дворе колющего дрова старика. Он имел такую угнетенную жалкую фигуру, что, глядя на него, у меня болезненно сжалось сердце, и я тотчас же спросила, что это за несчастный старик? Мне сообщили вот что. Этому старику восемьдесят четыре года. Он – бывший крепостной сначала какого-то князя, а затем чуть ли не целого десятка господ, к которым он переходил из рук в руки; теперь же, после девятнадцатого февраля, он, свободный человек, но правдивее сказать – брошенный человек, или оставленный без крова, без семьи, без родных и знакомых. Ходит он по городу из дома в дом, отыскивая работы. Где наколет и натаскает дров, где принесет воды и выметет двор; за это ему кое-что дают и кормят. Но что дают и чем кормят?! Где же он ночует, – это уж одному богу известно. Быть может, в поле, на кладбище или где-нибудь под мостом. Так он живет и не ропщет...

По мере рассказа лицо Веры Николаевны становилось все грустнее и грустнее; затем грусть эта незаметно перешла в какое-то страдание, очень похожее на выражение лица у изболевшегося ребенка, когда уже он не плачет, не жалуется, а, приподняв высоко свои тоненькие брови, раскрыв запекши-

еся губки, как-то жалостно, покорно смотрит на всех и молча просит ослабить его муки и возвратить ему угасающую жизнь.

– О, если б вы видели его, – продолжала Вера Николаевна, – если б видели, как высоко поднимается его исхудалая грудь!.. Как тяжело он дышит, опустив иногда усталые руки, и как при этом в груди его что-то хрипит, клокочет и точно переливается!..

При этом глаза Веры Николаевны наполнились слезами, и одна за другой они стали скатываться на ее бледные и худые щеки.

– Да, если б вы видели этого несчастного старика, я уверена, вы бы не отказали ему в помощи; конечно, не денежной, – денег он не берет. Я уже не раз предлагала их ему, но он всегда отказывался, говоря: «Не пришла еще пора жить Христовым именем...» Вот какой это несчастный старик... Я много думала о нем и вот, наконец, что придумала сделать...

Вера Николаевна утерла смоченное слезами лицо и, обратясь ко мне, спросила:

– Вы знакомы с Саввой Прохоровичем Щукиным?

– Да, знаком; но настолько, насколько мог познакомиться, когда писал с него портрет. Если я и бываю в его доме, то не иначе как по делу...

– Уж и этого довольно, – перебила меня Вера Николаевна. – Щукин, как я слышала, очень добрый человек. Да иначе

и быть не может; он, говорят, любит искусство и науки. Он помогает трудящимся, раздает милостыню бедным и, наконец, выстроил приют или дом для призрения бедных с отделением, специально предназначенным для престарелых бывших крепостных и дворовых людей, оставшихся без крова и пищи, в награду за многолетнюю и нередко самую преданную их службу. Так вот в чем дело. Нельзя ли вам попросить г. Щукина поместить в свой приют и этого несчастного страдальца. Если уж Щукину, первому в России, пришла такая высокохристианская мысль, прежде даже чем дворянам, людям более интеллигентным и по совести обязанным сделать что-либо для бывших своих рабов, то я уверена, что он будет рад такому случаю, – таких немного. Ведь этот старик, о котором вы будете просить, ведь это вполне материал для осуществления его наигуманнейшей, высокочеловечной идеи.

– Ради бога, не откажите, – снова проговорила со слезами Вера Николаевна. – Попросите его!.. Попросите хорошо!..

И с этими словами Вера Николаевна вдруг стала опускаться передо мною на колени.

Я схватил ее за руки, поднял и как-то сердито, даже грубо, закричал:

– Послушайте, Вера Николаевна, это ни на что не похоже... Это уж из рук вон!..

Вера Николаевна стояла передо мной, опустив руки, молча смотрела вниз и тяжело дышала.

Мне стало совестно за мой несколько грубый порыв, и,

успокаивая ее, я обратился к ней как мог только ласковее:

– Вера Николаевна, не сердитесь на меня... Вы знаете, что я готов для вас все сделать, зачем же такие крайности!..

– Вы не правы, вы не понимаете меня. То, что я хотела сделать, – не крайность; это не больше, как самая ничтожная доля выражения моей любви к ближним и желания что-либо сделать для этого несчастного старика. Я готова сама ехать к Щукину и просить его, просить со слезами, на коленях, целуя даже его ноги, чтобы помочь старику. Но меня не пустят, во-первых, Щукину; к нему доступ труден, а, во-вторых, он, вероятно, так много видал перед собой плачущих и молящих о помощи, что вряд ли слезы незнакомой женщины тронут его. Я решила просить вас; вы как знакомый и как художник сумеете выразить ему все горькое, все безвыходное положение и упросить его дать старику – страдальцу какой-нибудь угол в приюте.

Я обещал, разумеется, сделать все, что могу; но прежде чем приступить к делу, просил прислать ко мне старика, чтобы расспросить поподробнее, – кто он, откуда и т. д.

Вера Николаевна, сейчас же после окончания своей просьбы, несмотря на проливной дождь и на мою просьбу переждать, стала собираться домой. На этот раз я догадался уже сам помочь ей одеться. Одеваясь, она постоянно повторяла свои мольбы о старике; затем, смотря на одну из начатых мною картин, сказала: «А может, старик и для вас пригодится, для вашей картины»; и, взявшись наконец уже за руч-

ку двери, она остановилась и торжественно, даже театрально проговорила:

– Во всем этом деле нам будет помощником и покровителем вот он! – она указала рукой на большую голову Христа – этюд, висевший у меня в мастерской.

Сказав это, она опустила вуаль и медленно вышла из комнаты.

На следующий день, около полудня, в дверь мою, как и накануне, снова постучались. На приглашение войти дверь тихо отворилась, и вошел ожидаемый мною старик. Переступив порог мастерской, он остановился шагах в двух от двери и начал сперва осматривать углы комнаты. Отыскивая глазами, видимо, образ, он вперил свой взгляд на этюд головы Христа и стал на него молиться, точно Вера Николаевна шепнула ему, кого она избрала в помощники и покровители и от кого надо ждать помощи. Перекрестившись несколько раз на этюд, он подошел ко мне, низко поклонился и четко, даже громко, старческим голосом произнес:

– Желаю здравствовать, сударь! Я к вам от доброй барыни Веры Николаевны.

Он подал маленькое письмо, в котором повторялась, конечно, одна и та же просьба.

Я попросил старика сесть.

– Не извольте беспокоиться обо мне, сударь... Мы стоим, наше дело привычное... – ответил почтительно старик и остался на ногах.

Внешность старика была почтенна, красива и очень симпатична. Сразу он мне напомнил тоже старика, несколько лет тому назад виденного мною на одном из наших бульваров. Помню, раз как-то проходил я бульваром. Навстречу мне шел маленькими ровными шажками, медленно передвигая ноги, какой-то старичок в бархатных черных сапогах, узких черных панталонах, в старомодном плаще с большим воротником и полою, закинutoю на плечо. Взглянув на его лицо, я не мог оторвать своего взгляда: такого благородства, такого внешне аристократического вида ни прежде, ни после не случалось мне видеть. Его наклоненная несколько набок голова, его сосредоточенно устремленные вперед задумчивые и уже потухающие глаза, его белая, с ногтями как большие миндалины, рука, опирающаяся на высокую трость, его подстриженная довольно коротко и, как осенний снег, белая борода; ну, словом, весь он всецело и каждая часть его старческого тела могли быть названы вполне изящными и кровно аристократическими. Даже платье, в которое он был одет, и оно могло служить превосходной моделью для художника. Счастлив тот художник, которому пришлось бы написать портрет или вылепить статую с такого благородного, с такого почтенного и красивого старца. Не надо обладать и особой наблюдательностью, чтобы, посмотрев на него, сразу решить, что он принадлежит к истым аристократам. Но мне хотелось узнать – кто он? И я последовал за ним. Старик медленно подвигался вперед, шмыгая своими бархатными сапо-

гами по желтому песку бульвара. За ним с зонтиком в руках шел по пятам его высокий, бравый лакей, одетый в щегольскую ливрею. Пройдя бульвар, последний, подскочив к старику и взяв его под руку, повернул с ним направо. Они прошли вместе улицу и затем вошли в ворота большого барского дома. Дворник при их появлении почтительно снял шапку, и, когда они удалились, я спросил его, кто этот старик?

— Этот старичок, — повторил дворник, глядя на меня искоса и надевая свою баранью шапку, — это его сиятельство князь Н.

Так вот кого, — аристократа-князя напомнил мне и мой старичок — старик-крепостной, бывший, быть может, раб такого же князя, как и Н. Правда, что у моего крепостного раба-старика не было той белизны и нежности кожи ни на руках, ни на лице; не было также того покойного задумчивого взгляда, как у князя; не было, конечно, и того изящного, живописного костюма и белых ногтей, напоминающих миндалины; но, тем не менее, сходство во всем, особенно в благородстве всего, — существовало, и сходство несомненное...

Старик, стоящий передо мной в моей мастерской, был высокого роста, но уже согнувшийся, как верхняя ветвь высокой ели, когда среди теплой зимы ее облепит пушистый снег. Борода его была не такая белая, как у князя, а скорее серая, напоминающая цвет подержанного серебра, но так же подстриженная; глаза грустные, как бы задернутые черным флером или временем долгого страдания, и на одном из них

виднелось большое белое пятно. Вместо плаща на нем красовался широкий с заплатами крестьянский кафтан цвета ржаного хлеба, подпоясанный узким ремнем с медной пряжкой. На ногах, одетых в шерстяные чулки, торчали опорки. И несмотря на такой неприглядный костюм, во всей фигуре старика, особенно же в его лице, было что-то, несоответствующее его костюму и положению.

Таким показался мне старик при первом с ним знакомстве; таким же он казался и после. Имя старика было Христофор, фамилия же Барский; быть может, к ней нужно было бы прибавить еще и нарицательное – сын...

Когда я стал писать со старика, мы вступили в разговор. Говоря, он часто удушливо кашлял, придерживая грудь ладонью правой руки.

– Вы давно в нашем городе? – спросил я, между прочим.

– Скоро, сударь, два года будет, как я пришел сюда, – ответил он и закашлялся.

Когда кашель унялся, я снова спросил:

– И все время занимаетесь поденной работой?

– Точно так, сударь, почти что все время; только один месяц прожил как-то у одного отставного капитана. Был я у него, сударь, садовником; жить было хорошо, работа была по мне, не особенно трудная; кормил я вдоволь, и все было ладно, да уж очень ругался капитан, самыми что ни на есть неприличными словами обзывался, так что на старости моих лет ежеминутно слушать его ругань мне показалось и зазор-

но, да и грешно. Я и ушел от него...

— А чьих господ вы были до освобождения? — продолжал я расспрашивать.

— До освобождения... то есть до свободы-то... — проговорил старик медленно и как-то горько улыбнувшись. — До свободы, — шептал он задумчиво, — и потом вдруг, подняв голову и устремив на меня свои грустные глаза, заговорил: — Не так, сударь, изволите спрашивать: «Чьих был господ?» Вам бы следовало спросить, чьих я не был господ?... Многим, сударь, переслужил на своем веку... о-о-ох, как многим... — говорил старик, качая головой. — Начиная от князя Хмурова, у которого до двадцатилетнего возраста был я чтецом, музыкантом, а затем камердинером, и далее — у князя Блудова, у графа Максютובה, у генерала Беклешева, а потом у Нащокина, у Попова, Щербатова, Полторацкого и кончая господином Пустоваловым, при котором и получил свободу. Господин Пустовалов продал землю, лес, дом с родительским благосостоянием, продал все, что мог продать, а сам уехал за границу, оставив нас без куска и угла, и, уезжая, только сказал на прощанье: «Ну, милые, ступайте теперь к тому, кто даровал вам свободу, — он милосерд, всех вас напоит, накормит, обует и оденет, а я вам, други мои, больше не кормилец». Крикнув затем ямщику: «пошел», он выехал со двора и только за воротами, обернувшись к нам, провожавшим его дворовым, сделал ручкой... Уехал, а мы, спустя день-другой, взяли по котомочке да и разбрелись мыкать горе в разные

стороны.

– Мне говорила о вашем положении Вера Николаевна, и я завтра же поеду к Савве Прохоровичу Щукину и буду убедительно просить его, чтобы он поместил вас в свой приют.

Старик быстро встал и поклонился мне низко-низко. Тут только я заметил, что глаз, на котором было у него белое пятно, совсем не закрывается. С этим незакрытым глазом он заговорил сквозь слезы:

– Ах, милостивый господин, если бы это возможно было вам сделать!.. Если бы господь милосердный помог этому!.. Может, Савва Прохорович и услышит вашу просьбу и мои мольбы, может, и даст мне по доброте своей угол да кусок хлеба при конце дней моих... Еще поднимаются, сударь, мои старые руки и бродят пока ноги, а ведь страшно, сударь, – и старик при этих словах как бы действительно чего-то невидимого пугался, – страшно даже подумать, когда откажутся они и придется протянуть руку христа ради... Господи, господи милосердный, – обращаясь снова к этюду Христа, говорил старик, – прекрати лучше мои горькие дни!.. – И, закрыв лицо руками, старик затрясся всем своим старческим телом.

Он плакал... плакал тихо... тяжело.

На другой день утром я отправился к Савве Прохоровичу... Считаю не лишним рассказать тут же кое-что и о Савве Прохоровиче. Это был почетный гражданин, первой гильдии купец, по своему богатству и благотворительности известный не только нашему городу, но и всей России. В былые

и очень даже недавнее время он строил церкви, лил колокола, жертвуя их в разные обители; но, съездивши за границу и случайно познакомившись с художниками и учеными, бросил отливать колокола, обрил бороду, по-немецки остригся, по-немецки оделся и как-то вдруг стал слыть меценатом и даже археологом. Ради этой археологии он покупал всякую рухлядь, начиная с глиняных горшков, гобеленовских совсем полинялых ковров и кончая гетманской булавой, которая досталась ему за весьма большие деньги. Одновременно с такой любовью к древностям он почему-то возымел неудержимую страсть к музыке и до того ею увлекся, что даже и сам стал учиться играть на виолончели. Окружив себя музыкантами, художниками и учеными, он все-таки, надо отдать ему полную справедливость, не переставал иногда благотворствовать и бедному народу. Довольный всегда собой, веселый до неуместной шутливости и подчас резонер до фразерства, Савва Прохорович являл из себя тип самооболащенного богача, но богача, который не удовольствовался еще имеющимися у него миллионами, и потому ежедневно бросал на несколько часов вышеупомянутые бредни и всецело, даже с каким-то азартом, предавался увеличению своих капиталов. Трудно понять, ради чего он их с такой жадностью увеличивал. Он был один-одинешенек, жена у него давно умерла, а детей не было.

Собой Савва Прохорович был некрасив, но далеко и не дурен. Среднего роста, чуть-чуть что не толстый, с серыми

маленькими глазами, с двойным подбородком, небольшим носом и такими же губами. Вообще он был человек, о котором говорят – метёт,³² то есть мужчина солидный, приличный и больше ничего. Чтобы вполне, однако, закончить описание Саввы Прохоровича, я должен прибавить, что одевался он всегда франтом и не выпускал никогда изо рта благовонной гаванской сигары, предлагая гостям сигары похуже. Вот и все, что можно сказать о Савве Прохоровиче, если не касаться его нравственной стороны. В последнем случае мы ограничимся двумя словами. Он был, несомненно, человек доброй души и с хорошими стремлениями; но убийственное воспитание и окружающие люди, окуривавшие его вместо истины лестью и ложью, сделали из его восприимчивой натуры не то, чем бы она могла быть при других условиях.

Я приехал к нему утром. Меня пригласили в кабинет, до которого нужно было пройти целую анфиладу комнат, убранных роскошно, но с не большим вкусом. Прежде всего бросались в глаза красный штоф и золотая мебель. Повсюду были приспособлены разные полки и полочки, на которых в бесчисленном множестве, вместе с горшками и какими-то черепками, стояли этрусские, китайские, японские и другие вазы. Между ними помещались какие-то из дерева резные раскрашенные уродцы. Множество книг и древнего оружия украшали стены. К довершению же всего в одном из углов на высоком пьедестале стоял мраморный бюст самого Сав-

³² *Metëm* – так говорят о человеке, пригодном к чему-либо.

вы Прохоровича. Я помню этот бюст, когда он как-то красовался на одной из столичных выставок. Вся публика особенно обращала внимание на лаконическую надпись под ним: «Бюст мужчины».

Вторая комната также была наполнена старыми вещами, но в ней я увидел и разные великолепные музыкальные инструменты; третья опять в том же характере, как первая и вторая, и т. д. вплоть до кабинета, где сидел, пощелкивая на счетах, Савва Прохорович. При моем приходе он как-то развязно, переваливаясь с ноги на ногу, мотая головой и закидывая ее кверху, устремился ко мне. Протянув мне обе руки, он любезно и улыбаясь заговорил часто и картавя:

– А! Господин художник! Милости просим! Очень рад! Что, батенька, прикажете? Ну, что хорошенького?... Садитесь, пожалуйста... Сигарочку...

Он достал из ящика и подал мне сигару, несмотря на то, что я чуть ли не в сотый раз отказывался от его сигар, так как никогда не имел и не имею привычки их курить.

– Ну, батенька, Егор Иванович (меня же никогда еще и никто не звал Егором Ивановичем), ну-с, рассказывайте, что новенького? Рассказывайте, голубчик... – И вдруг ни с того ни с сего, закатившись громким смехом, Савва Прохорович вскричал: – Ах вы, художники, художники! Люблю я вас!.. веселый вы, право, народ!.. – Но, приняв опять серьезный вид, он добавил: – Так-тось, батенька!.. – и, ударив по моему колену своей жирной рукой с большим перстнем на указа-

тельном пальце, сказал не то деловым, не то шуточным тоном: — Ну-с, в чем у нас с вами, Федор Егорович, будет дело?... говорите...

— У меня до вас, Савва Прохорович, большая просьба, — начал я; и не успел еще высказаться, как заметил, что Савва Прохорович точно потянулся, лениво зевнул и поморщился. — Вы человек известный всем и каждому своей благотворительностью... — при этих словах Савва Прохорович еще более поморщился... — Много сделали полезного для науки и искусства... Наконец, вы выстроили дом призрения для бедных рабов, оставленных без куска хлеба своими бывшими господами... Многих из сих несчастных вы собрали под один кров и составили из них как бы одну семью... Это дело великое... Довершите его и еще одним благодеянием... Приютите одного несчастного восьмидесятичетырехлетнего старика...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.